В. П. Некрасов

На крыльях победы

Хабаровск
1963

SHOUT
SHARE
IT

-
- Герой Советского Союза
  -
  -
  - В. Некрасов
    -
    - Исполнение мечты
    - В летной школе
    - Война!
    - Самолеты идут на фронт
    - Первый бой
    - Боевые будни
    - Война и люди
    - Где брат?
    - Когда летчик совершает вынужденную...
    - Снова в воздухе
    - Бои, успехи, потери...
    - Гибель брата
    - Саша награжден!
    - Счет мести растет
    - Вперед, на запад!
    - Я — член великой партии
    - На эстонской земле
    - И снова бой...
    - На запад, на запад!
    - Последние схватки
    - Спасибо, партия, спасибо, Родина!
    - Спустя много лет
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

В 1938 году в Хабаровский аэроклуб поступили ученики четвертой школы братья Некрасовы — Александр и Владимир. Вскоре, продолжая учиться в клубе, они начали работать на заводе «Энергомаш».

В 1940 году братья расстались с родным заводом и городом и выехали в школу летчиков-истребителей. А еще через два года на фронтах Великой Отечественной войны они вели ожесточенные бои с гитлеровскими воздушными пиратами.

В одной из схваток, когда на стороне врага был значительный перевес — десять фашистских истребителей напали на двух советских, младший брат, Александр, сбив немецкого аса, сам погиб смертью храбрых. Владимир Некрасов мстил ненавистному врагу и за смерть брата, и за то горе, что принесли гитлеровцы на советскую землю.

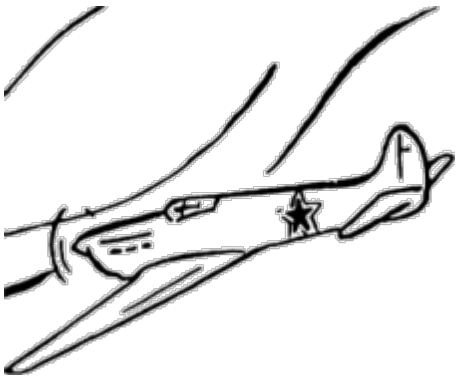
В годы войны Владимир Некрасов выполнил более двухсот пятидесяти боевых заданий, участвовал в семидесяти шести воздушных боях, в которых лично сбил двадцать один фашистский самолет и тринадцать — в группе с товарищами. Партия и правительство высоко оценили мужество и героизм братьев: Александр был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени, который сейчас хранится у родителей, Владимиру Петровичу шесть раз вручались ордена и три раза — медали, а затем было присвоено звание Героя Советского Союза.

Сейчас В. П. Некрасов живет и работает в Хабаровске. О своем участии в войне, о многочисленных сражениях, о боевых товарищах он рассказывает в этой книге.

Впервые книга вышла в Хабаровском издательстве в I960 году. Она была хорошо встречена: автор и издательство получили много благодарных отзывов. Настоящее издание (несколько исправленное и дополненное) осуществляется по просьбе читателей.

Литературная запись писателя А. А. ВАХОВА

Герой Советского Союза
В. Некрасов
На крыльях победы
Записки летчика-истребителя



Владимир Петрович Некрасов

В. Некрасов
На крыльях победы

Брату Александру,
павшему смертью храбрых
в боях за Родину,
посвящаю.

Исполнение мечты

В жизни человека бывает день, который неожиданно меняет всю его судьбу. Чаще всего это случается в молодости, когда еще не нашел своей дороги, не выбрал окончательно профессии. Был такой день и у меня...

За спиной — восемь классов средней школы, впереди — беззаботные летние каникулы. Вместе с братом Сашей, который был всего на год младше меня, мы проводили дни на зеленом левом берегу Амура, плескались в быстрых водах реки, жарились под солнцем, совершали походы по Хехциру, что голубеет своими изломами за Хабаровском, часто устраивали велосипедные прогулки. Излюбленным маршрутом была дорога, проходившая мимо осоавиахимовского аэродрома. Мы любили наблюдать, как маленькие самолеты, издали похожие на стрекоз, бегали по ровному полю, затем незаметно отрывались от земли и взмывали в небо. Звенящий гул этих зеленых машин казался нам прекрасным, а летчикам мы страшно завидовали, считали их счастливцами и, конечно, знали биографии выдающихся пилотов. Каждый из нас и тайно и вслух, при товарищах, мечтал о штурвале самолета.

Об этом мы думали и в солнечный августовский день тридцать восьмого года, когда, нажимая на педали велосипедов,

быстро неслись к аэродрому. Впереди катил Саша, следом за ним — наш товарищ Гоша Старостин. Мы мчались под знойным солнцем по пыльной дороге и во все горло пели:

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

В эти минуты каждый воображал себя летчиком. Но вот и аэродром. Мы бросили в траву велосипеды, а сами залегли на краю летного поля и, подперев головы руками, следили за самолетами, которые то поднимались в воздух, то садились или просто катились по полю. Там шла обычная аэродромная жизнь, но нам она казалась полной какого-то особого смысла. Неожиданно над нами раздался чей-то голос:

— Ну, что рты разинули?

Мы действительно лежали с открытыми ртами. Я обернулся и увидел высокого человека в летном комбинезоне. Шлем расстегнут, на лбу сверкают очки. Летчик!.. Так близко нам еще не приходилось видеть человека, который может птицей взмывать в небо. А летчик улыбался. И улыбка была удивительно знакомая! Да это же Петя Пронин! Он учится в десятом классе с моей сестренкой Галей. Я отказывался верить своим глазам.

— Петя? — неуверенно произнес Саша.

— Как видите, — рассмеялся Пронин и присел на траву. — Ну и вид у вас, братцы!

Он опять засмеялся, потом хлопнул меня по плечу:

— Ну что таращишь на меня глаза?

— Ты... ты летчик?

— Угу. — Пронин прилег рядом.

Мы засыпали его вопросами. Слушали — и не совсем верили. Петя всего на год старше меня. Да, он летчик, уже самостоятельно летает. Да, занимается в аэроклубе Осоавиахима. «Конечно, могут принять и вас. Сейчас как раз идет новый набор. Вас, безусловно, примут».

Возвращаясь домой, говорили только об авиации. Мы были взволнованы встречей с Прониным, и через несколько дней подали заявления в аэроклуб. Потом начали проходить освидетельствование. Волновались — страшно!

Осмотр шел успешно. И вдруг первый удар: Гошу Старостина забраковал невропатолог. Мы испугались, притихли. Идти учиться на авиатехника Гоша не захотел, и мы с ним временно расстались.

С тревогой вошли в кабинет невропатолога я и Саша. Сейчас врач казался нам злейшим врагом, ибо мы были почти уверены, что он нас «зарежет». Но этот старенький человек в белом халате и холодно поблескивающих очках, молчаливо осмотрев нас, вежливо сказал: — Счастливых полетов, молодые люди!

Ура! Мы приняты в аэроклуб! С нами вместе будут учиться наши товарищи — молодые рабочие с завода «Энергомаш»: слесарь Николай Глотов, шофер Иван Рыбаков, ученик десятого класса тридцать третьей средней школы Дима Кондратенко... Нам казалось, что вот сейчас, сразу же, нас посадят в машины и мы понесемся навстречу солнцу. Нам будет улыбаться голубое небо, а белые перистые облака встретят нас, как близкие друзья.

Но в жизни все не так просто. Прежде чем стать летчиками, нам предстояло много и упорно учиться.

И вот началась наша учеба в аэроклубе. Мы знакомились с конструкцией самолета, проходили штурманскую, навигационную подготовку, зубрили до одури конспекты лекций, изучали район предстоящих полетов.

Стать летчиком, летать! Это было единственным желанием, единственной мечтой. Этим жили. А сколько бессонных ночей провели над книгами по летному делу! И все это тайком от родителей, которые весьма недружелюбно относились к авиации, — мать считала, что человек, рискнувший подняться в небо, обязательно погибнет...

Наступила осень. Теперь днем мы учились в школе, а по вечерам — в аэроклубе. И везде надо было заниматься хорошо, как подобает комсомольцам.

Родители заметили, что мы с братом осунулись, похудели, часто зеваем за столом, но на первых порах особого значения этому не придавали.

В упорных занятиях и работе быстро идет время. Пролетела зима. Вот уже и май. Мы успешно сдали зачеты по теоретической учебе в аэроклубе, а первого июня вышли на аэродром на практические занятия.

Шли — не чувствовали под собой земли; видели лишь самолет, к которому вел нас инструктор. Вот он, знаменитый «У-2»! Я ласково поглаживал ладонью его гладкую поверхность, и он казался мне самым прекрасным самолетом в мире. А ведь это была машина, много повидавшая на своем веку, хранившая многочисленные следы курсантских ошибок и просчетов.

Нам разрешили забраться в кабину, попробовать ручку, педали, сектора управления. Мы были на верху блаженства. Теперь скоро полетим!

А как же быть с родителями? На полеты нужно будет

приходить рано, это, конечно, возбудит подозрения — мы же так любили по утрам поспать! Мы приуныли. Но скоро выход был найден. Саша почти закричал:

— Будем спать в сарае!

...И вот начинается аэродромная жизнь. Вместе с инструктором, который сидит в первой кабине, мы учимся выруливать на старт, с нетерпением ждем первого вылета. С тревогой и волнением всматриваемся в лицо инструктора Николая Снопкова: когда же он даст команду? Всегда спокойный, строгий, Снопков пользовался не только большим авторитетом у курсантов, но и какой-то особенной любовью. Я и до сих пор часто вспоминаю его и говорю себе: «Все то лучшее, что было заложено в нас, как в летчиках, заслуга Николая Снопкова».

Приходит долгожданный день — день первого полета. Я с трудом сдерживаю руку, которая поднесена к шлему и все норовит задрожать, и докладываю инструктору:

— Учлет Некрасов к полету готов!

Снопков слишком, по-моему, равнодушно кивнул и сказал

— Садитесь во вторую кабину.

Сам он забирается в переднюю. Я застегиваю ремни, вставляю переговорный шланг в свой шлем.

— Взлетаем!

Увеличиваются обороты мотора, и мне кажется, что чаще бьется сердце. Самолет мчится по полю. Я говорю себе, что вот сейчас мы поднимемся и... как-то пропускаю этот миг, не замечаю, как мы оказываемся в воздухе. Летим!

Мною владеет смешанное чувство: я испытываю и растерянность, и торжество, и страх, и гордость... А самолет набирает скорость и высоту. Его то бросает в сторону, то он проваливается. Вот машина накренилась влево и пошла в разворот. Я невольно схватился рукой за борт. Инструктор, видимо, заметил мое движение и сказал:

— Внимательно следите за полетом.

Самолет идет по прямой. А я прихожу все в большее смятение: я не успеваю заметить и понять показания приборов, уловить начало изменения направления полета и непроизвольные крены машины.

Внизу медленно проплывает земля. Спичечные коробки домиков, рыжая лента дороги, зеленые поля и густо-зеленые перелески — все это кажется макетом какой-то рельефной карты. Слева горизонт затянут дымкой — там город. Его охватила в полукольцо серебристая река. Слышу голос инструктора:

— Берите управление!

Вот она, страшная и счастливая минута! Инструктор

перестает управлять машиной, теперь я должен его заменить. И я сразу же чувствую, что самолет ведет себя, как норовистый конь. Вот он стремительно идет вниз, я поспешно беру ручку на себя — и самолет лезет к небу; даю моментально ручку от себя — и машина резко проваливается, кренится влево. Я дергаю ручку вправо... Смятение, паника. По лбу бежит пот, ест глаза. Движения несоразмерны, резки. Я стараюсь все делать так, как нас учили, но самолет плохо слушается меня. Он то лезет вверх, то стремится к земле, а она — словно на качелях — то с одного борта покажется, то взлетит над другим... И леденящая сердце мысль мелькает у меня: «Нет, летчиком мне не стать!»

Что было бы со мной дальше, я не знаю, но в этот критический момент на помощь приходит инструктор. Он говорит так, будто бы ничего не произошло:

— Не дергайте ручку! Работайте более плавно.

Я с облегчением думаю: «Значит, все не так страшно. — И приказываю себе: — Будь спокойнее, будь спокойнее, ну!»

Говорят, что у спортсменов-бегунов наступает критическое мгновение перед «вторым дыханием». Как только оно пройдет, а спортсмен его выдержит, переборет и не сойдет с дорожки, — бег до финиша обеспечен. Так случилось и со мной: пришло «второе авиационное дыхание», движения постепенно стали плавными, самолет пошел по прямой.

— Делайте левый разворот! — приказывает Снопков. Опускаю капот ниже горизонта, увеличивается скорость, нажимаю на левую педаль и даю ручку влево. Машина делает разворот, но я не успеваю поддержать крен, и самолет зарывается. Однако инструктор начеку — он выравнивает машину...

Идем на посадку. Инструктор ведет самолет, а я лишь дублирую его движения. Вот и земля. Затих мотор. Снопков оборачивается ко мне, и я вижу на его лице одобряющую улыбку:

— Будешь летчиком!

Я на седьмом или сто седьмом небе!..

Начинаются частые полеты, и с каждым новым чувствуешь себя все увереннее. Отрабатываются движения, приобретаются рефлексы на каждый показатель приборов, на любое движение самолета. Но все же я еще младенец, который учится ходить при помощи няньки, — все полеты с инструктором.

В группе нас двенадцать человек. Некоторые обгоняют меня. Шофер Иван Рыбаков и Дима Кондратенко уже летают самостоятельно. Как я им завидую! Надо догнать товарищей.

Успешно занимается и Саша. Мы по-прежнему храним свою тайну от родителей и говорим о полетах только тогда, когда остаемся одни или же находимся у себя в сарае. Все наши мысли

и интересы теперь связаны с авиацией. Каждую свободную минуту мы отдаем разбору полетов, обсуждению ошибок своих и товарищей.

А учеба становится все сложнее. Начинаются полеты для отрабатывания фигур пилотажа: переворот, боевой разворот, спираль, змейка, вираж, петля, штопор... Много труда мы вложили в их освоение, но с какой благодарностью вспоминали наших инструкторов через несколько лет, когда дрались с фашистскими стервятниками!..

Проходит время, и вот наконец и я слышу от инструктора долгожданную фразу:

— Полетите самостоятельно. Справитесь?

Хриплым от волнения голосом я говорю, что, конечно, справлюсь, но, видно, не особенно уверенно звучат мои слова. Снопков испытующе смотрит на меня, однако своего приказа не отменяет.

— В полете не нервничайте, — говорит он, — делайте все так, как и со мной. Приземляясь, не старайтесь посадить машину обязательно на три точки, можете опустить на колеса.

Он помогает мне запустить мотор. Механик Дима Матяж, вращая винт, командует:

— Контакт!

— Есть контакт! — кричу я.

Снопков повернул «пускач» — пусковое магнето. Мотор заработал. Сходя с плоскости, Снопков хлопнул меня по спине и кивнул: давай, мол, смелее.

Я пробую мотор на больших оборотах, затем выруливаю на старт, поднимаю руку — прошу разрешения на взлет. Стартер вытягивает белый флаг в направлении взлета. Плавно даю газ, и самолет начинает разбег. Дальше все идет так же гладко, ровно и хорошо. Я в воздухе. Набираю высоту. Впереди нет инструктора. На мгновение появляется тревожная мысль: «Как же я без него? Один в воздухе. А что, если...»

Но беру себя в руки и стараюсь выполнить полет лучше, чем делал это с инструктором... Кажется, все удается. Во мне поднимается гордость: я летчик, я сам, один вожу машину!

Посадку произвожу по всем правилам и, выключив мотор, выпрыгиваю на землю. Докладываю Снопкову:

— Курсант Некрасов... — Но меня прерывают и Снопков и товарищи своими поздравлениями.

Когда все немножко успокоились, Саша спросил меня, показывая на небо:

— Ну, как там одному?

Я, пожав плечами, постарался ответить как можно небрежнее:

— Будто ничего!

Брат смотрел на меня с восторженной завистью. Но несколькими днями позднее вылетел самостоятельно и он.

Так определилась наша судьба — мы стали летчиками.

Дома по-прежнему не знали о наших авиационных делах. Мы продолжали летать, совершенствовались и, нужно сказать, что по молодости да и лихачеству допускали иногда возмутительные поступки. Так, например, однажды Пронин ухитрился пролететь на «У-2» вверх колесами. Его за это строго отчитали, а затем отстранили на несколько дней от полетов. А что может быть для летчика тяжелее?

Однако этот урок нам с Сашей не пошел на пользу. Как-то мы летали вдвоем. Саша — за пассажира. Я выполнил упражнение и взял курс на город. Прилетев к нашему дому, что около завода «Энергомаш», я сделал над крышей несколько фигур высшего пилотажа и вернулся на аэродром. Об этом никто из отряда не знал, и нам все сошло. А за ужином мать начала рассказывать, что, мол, сегодня она видела, как какой-то сумасшедший кувыркался над домом, чуть трубу не сбил и сам чуть не убился.

Саша уткнулся в тарелку, весь покраснел и, не выдержав, фыркнул, расхохотался. К нему присоединился и я. Тут уж пришлось нам все рассказать. Мать в ужасе, отец мрачно смотрели на нас. Когда прошли первые минуты растерянности, отец сказал:

— Что нас обманывали — нехорошо, стыдно, сынки. Но раз уж взялись за такое большое дело — доводите до конца. Да смотрите, нашу фамилию не позорьте!

Мы радостно обещали отцу, что его наказ будет выполнен. Тут же решили другой вопрос: коль уж определился наш жизненный путь, то надо подумать и о работе. Учеба сейчас будет продолжаться в аэроклубе, затем — военное летное училище, а пока идем работать на завод. Там постараемся овладеть двумя-тремя специальностями — это всегда пригодится. Мы с братом как-то читали рассказ, как один летчик совершил вынужденную посадку в пустыне. Но так как он прежде работал слесарем и токарем, то сумел сам отремонтировать машину и спас себя и самолет. Думаю, что этот рассказ сыграл некоторую роль в нашем решении.

И вот мы ученики на заводе «Энергомаш». Встретили нас здесь очень тепло. На этом заводе существует замечательная традиция — заботиться о молодежи, выводить ее на дорогу большого мастерства. Очевидно, эта традиция идет с тех пор, когда завод только закладывался, когда в числе его строителей было немало комсомольцев, молодежи. Многие из них затем

стали опытнейшими рабочими, мастерами, командирами производства. Вот они-то так внимательно и относятся к молодым. Я это испытал на себе. Поручили мне, помню, нарезать шестерни. Работа сложная, ответственная. Фрезеровщик Николай Иванович Строт по-отцовски передавал мне свой опыт, за моим производственным ростом внимательно следил мастер фрезерной группы Дубровский. Не прошло и пяти месяцев, как я уже перешел на самостоятельную работу. То же самое и у Саши, который стал шлифовщиком.

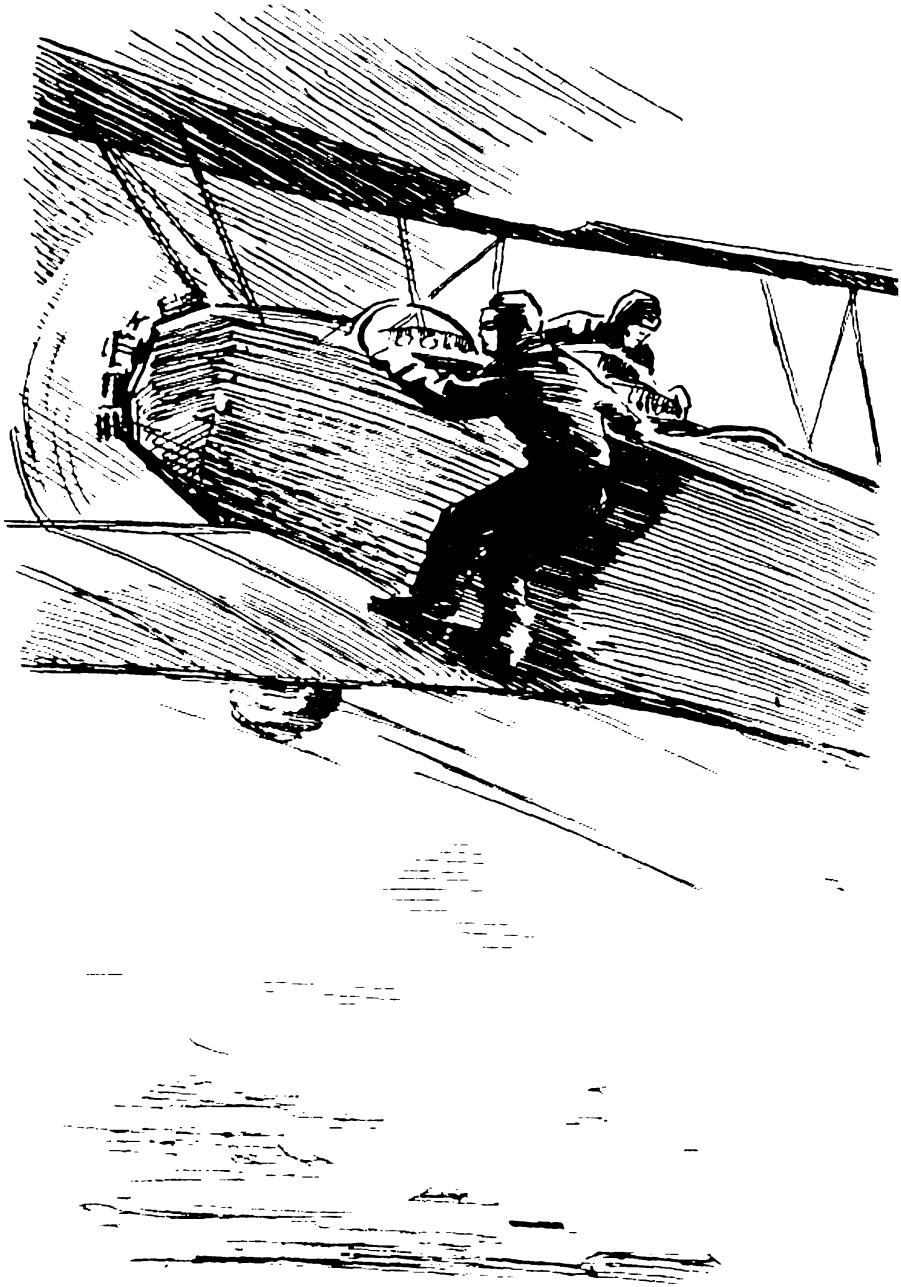
Появились у нас новые товарищи. Все ребята боевые, горячие — настоящие комсомольцы, которые всей душой, всем сердцем любили свой завод. Меня избрали комсоргом цеха. Мы регулярно выпускали стенную газету «За труд», часто проводили комсомольские субботники по уборке цеха и территории около него. К нам всегда присоединялась молодежь всего завода, и работа кипела. А ведь хорошо известно, что человек тогда хорошо, производительно работает, когда он трудится рука об руку с коллективом. Тут уж действует принцип: все за одного, а один за всех. И разве позволишь себе плохо или с прохладцей работать! Жмешь так, что и на сердце весело!

Однажды в цех ко мне зашел Гоша Старостин и кивнул на Доску показателей:

— Это ты?

А там моя фамилия и против нее цифра — 240 процентов. Внимание товарища было приятно. Я рассказал ему, как работаю, показал в действии зуборезный станок. Мы вспомнили школу, школьных товарищей. После этой беседы Гоша тоже поступил на завод.

Работая и продолжая заниматься в аэроклубе, мы с Сашей все чаще и чаще поговаривали о военном училище. Но однажды чуть не испортили себе всю свою будущность. Как-то, готовясь к полету, мы решили поменяться в воздухе кабинами и каждому поуправлять самолетом из кабины инструктора. Набрав высоту в тысячу метров, я вылезаю из своей кабины и держу ручку управления, стоя одной ногой на левом крыле, а Саша вылезает на правое крыло. Встречный ветер словно хочет нас сорвать с плоскостей. Нужна большая сила, чтобы сделать два шага к передней кабине. Медленно тянется время, а силы тают. Но вот наконец Саша в моей кабине берет управление, а я привязываюсь в передней, и мы начинаем пилотаж. Выполнив задание, вновь меняемся местами и возвращаемся на аэродром.



Кажется, никто не заметил нашей воздушной акробатики, а вернее говоря, лихачества, хулиганства! Но Саша не вытерпел и рассказал о нашей проделке товарищам. Затем все стало известно и начальству. Нам был такой нагоняй, что лучше и не вспоминать. Мы боялись, что нас отчислят из аэроклуба, но после строгого наказания нам запретили с братом летать вместе, а мы дали себе слово никаких фокусов в воздухе больше не

проделывать. И мы сдержали это слово.

...Подошла зима. Летать стало труднее. В теплых одеждах мы были неповоротливыми, неуклюжими. К тому же на высоте давал себя чувствовать холод, а ветер так и прорывался в каждую плохо застегнутую петлю. Но разве можно было жаловаться на мороз, холод и ветер? Мы же летчики!

Авиационное дело стало главным, основным в моей жизни. Я внимательно присматривался к старшим товарищам, бывалым летчикам, жадно слушал их рассказы, воспоминания и невольно начинал им подражать даже в походке, в манере разговаривать, в отношениях к людям, к своему делу.

Наконец сданы зачеты. Наступил день окончания учебы в аэроклубе. Но это была лишь первая ступень в моей жизни летчика, как и в жизни других курсантов. Мы сразу же начали готовиться к поступлению в военную летную школу. Теперь у нас с братом появилась новая мечта — стать летчиками-истребителями.

В летной школе

Счастлив человек, когда сбывается его мечта! Такими счастливцами были мы с Сашей, когда получили повестки из Хабаровского горвоенкомата.

Несколько дней назад мы, в ответ на призыв Центрального Комитета комсомола к молодежи овладевать военным летным делом, подали заявления с просьбой зачислить нас слушателями военной школы летчиков-истребителей. И вот ответ! Значит, скоро мы станем летчиками Красной Армии. Юношеское воображение уже рисовало нам воздушные схватки с врагом, мертвые петли, пулеметные поединки, из которых мы, конечно, выходили победителями.

Но чем ближе мы подходили к военкомату, тем сильнее волновались. А что если не примут, если почему-либо забракуют? В горвоенкомате застали комсомольцев с нашего завода, которые тоже окончили аэроклуб без отрыва от производства. Одного за другим их вызывал военком и сообщал о зачислении в школу. Дошла очередь до Саши. И тут произошла заминка: его, оказывается, не могут зачислить курсантом, так как ему нет еще семнадцати лет.

Саша побледнел, когда услышал об этом. Расстроился и я: было жаль брата. Что же делать? Казалось, выхода нет. Тогда я взял Сашу за руку и сказал:

— Идем к военкому!

— Напрасно, — заметил кто-то из товарищей. Но мы все же

пошли.

Что я тогда говорил, какие приводил аргументы — сейчас вспомнить не могу. Да, очевидно, не столько наши слова, сколько наш вид, горячее желание служить вместе, «как Михеевы и Лагоды», сыграли роль. Военком совсем по-отцовски улыбнулся и сказал:

— Хорошо, я вношу в список зачисленных и Александра Некрасова. Надеюсь, что он не подведет меня и будет служить отлично!

— Буду, товарищ военком, вот честное слово! — горячо выпалил Саша, все еще не веря в удачу. — Я буду отличным летчиком и, если надо...

Тут у Саши дрогнул, прервался голос, и он замолк. Военком внимательно на него посмотрел и разрешил нам идти. Видимо, его растрогали слова брата. А спустя несколько лет Саша подтвердил их своими боевыми делами...

До отъезда оставалось мало времени. Мы едва успели оформить на заводе документы, попрощаться с товарищами, сфотографироваться с родными — и на другой день скорый поезд уже увозил нас из родного Хабаровска. Вслед нам гремел оркестр, доносились возгласы провожающих, а мы, высунувшись в окна, кричали что-то в ответ, счастливо и гордо улыбаясь. Мы уже чувствовали себя военными летчиками, не представляя еще, сколько надо приложить труда, чтобы иметь право носить это высокое и ответственное звание...

Наконец станция назначения. Из Хабаровска мы выехали довольно легко одетые, — осень тогда стояла на Амуре теплая, солнечная. А здесь уже свирепствовал жесточайший мороз и сухо скрипел под ногами снег. Едва выстроившись на перроне, мы начали дрожать, у нас, что называется, зуб на зуб не попадал, а до школы нужно было еще идти шестьдесят пять километров.

Было раннее утро. Мы шагали быстро, стремясь добраться до места назначения засветло. Но настроение постепенно падало: вот и солнце уже у горизонта, а нам идти еще добрую треть пути. На наше счастье, нас встретила автомашина из школы и полузамерзших, в темноте, доставила до места.

Школа только начинала нормально работать. Помещение, предназначенное для нас, еще не было готово: не хватало стекол в окнах, печи стояли ледяные, не было даже нар. Но мы не очень огорчались. Главное — мы уже были в школе военных летчиков! Заткнули соломой окна, затопили печи и, сидя у них, провели свою первую ночь, в полной уверенности, что утром нас поведут к самолетам и, возможно, мы будем уже в воздухе.

Действительность оказалась весьма далекой от наших

предположений. В школе заканчивался выпуск первого состава курсантов, а нас вначале использовали на переборке картофеля в овощехранилищах, в работах на кухне. Но никто не роптал — ждали своей очереди. И она наступила.

Проходим медицинскую комиссию, мандатную... И опять задержка с Сашей. С комиссии он явился со слезами на глазах: из-за недостатка лет его не зачисляют в училище. Саша с надеждой и мольбой смотрит на меня: я же старший брат, я должен помочь. Решил я использовать тот же прием, что и в Хабаровском горвоенкомате.

— Товарищ комбриг! Мы — родные братья, и мы хотим учиться только вместе. Мы будем отличниками. Во время войны...

Говорил я долго, и комбриг ни разу не перебил меня. Видно, в наших лицах, в наших словах он читал ту страстность мечты, которая бывает особенно сильной в юности, и если ее поддержать вовремя, она даст хорошие результаты и в будущем. Комбриг Пушкарев, человек необычайно чуткий и внимательный, сказал нам:

— Хорошо, я подумаю.

Ночь прошла без сна, а утром мы узнали, что Саша оставлен в школе. Радости нашей не было предела. Радовались за нас и товарищи, поздравляли Сашу. Затем мы принимали присягу, которая произвела на нас огромное впечатление. Я и сейчас во всех деталях вижу, как стою перед взводом курсантов, читаю текст присяги и ставлю свою подпись. После этого торжественного акта мы все ходили с просветленными лицами. Теперь мы — настоящие военные.

Начались учебные будни. Теоретические занятия разнообразились лишь несением караулов, во время которых порой бывали и комические происшествия.

Один курьезный случай произошел и со мной. Особенно ответственным постом считались у нас бомбосклады. Они находились в овраге, в пяти километрах от школы аэродрома. В ночь на Первое мая я нес караул у дальнего склада, а Петр Пронин — у ближнего. Ночь была темная и ветреная. Я всматривался в темноту, напряженно вслушивался. А у самого в голове — всякие истории о диверсантах, шпионах. Как назло, и начальник по караулам накануне говорил, что в праздник можно ожидать диверсии.

И вот мне кажется, что где-то вблизи бродят диверсанты. Я крепко сжимаю винтовку и вдруг вижу: на бруствере рва промелькнул какой-то силуэт. Я закричал:

— Стой!

Никто не откликнулся, а тень шарахнулась в сторону. Я вновь

кричу:

— Стой, стрелять буду!

Тень исчезла. Я лег на землю — в таком положении дальше и лучше видно. Через несколько минут опять появилась чья-то тень. Я выстрелил вверх. И снова кто-то метнулся в сторону. «Наверное, он не один», — мелькнула у меня мысль, и я выстрелил вслед убегавшему. Раздался тонкий визг... Пронин услышал мои выстрелы и увидел, что прямо на него кто-то бежит. Он без предупреждения открыл огонь.

Наша стрельба подняла тревогу, через несколько минут появился начальник караула с караульными. Выяснилось, что я убил собаку, а Пронин подстрелил вторую! За меткую стрельбу в темноте я получил свою первую благодарность, но это не спасло меня от многочисленных шуток товарищей.

С наступлением теплых дней, когда подсох аэродром, мы приступили к летной практике. Полеты начали на самолетах «Ут-2» и быстро их освоили. Инструктировал нас старший сержант Василий Григорьевич Кузнецов, человек малоразговорчивый, строгий. Он не терпел даже малейших возражений и требовал, чтобы все делалось точно, без всяких промедлений. Сам он летал безукоризненно, хотя как учитель еще не имел достаточных навыков — он недавно закончил школу.

Как-то у нас с ним произошел казус, который оказался полезным как для сержанта, так и для меня. Мы находились в воздухе. Я выполнял контрольный полет по кругу — отрабатывал технику взлета, расчета на посадку. На высоте четырехсот метров, когда мы подходили к третьему развороту, я увидел, что в зону нашего круга впереди нас вошел другой самолет и пошел на посадку.

Я решил немного оттянуть третий разворот, чтобы разминуться с появившейся машиной. Инструктор же или не видел самолета, или неточно оценил обстановку и кивком головы приказал мне делать разворот. Я попытался привлечь его внимание к идущему впереди самолету, но он в ответ резко ударил по ручке управления, и она вырвалась из моих рук. Самолет лег на спину, а скорость была очень мала. Нам грозила опасность сорваться в штопор, из которого при такой малой высоте и скорости мы бы не вышли и врезались бы в землю.

Инструктор, ударив по ручке, и не думал брать ее. Самолет оказался неуправляемым. Я стремительно поймал управление, опустил нос машины, сделав «бочку», вышел со снижением на прямую, то есть сделал поворот через левое крыло по продольной оси самолета. Даже в этот опасный момент инструктор ничего не предпринял, не сказал, не подал совета. Я, недоумевая и едва

сдерживая волнение от только что пережитой опасности, посадил самолет. Нас немедленно вызвал командир отряда и сурово спросил:

— Чего это вы «бочки» по кругу делаете? С ума сошли или жить надоело?

— Курсант не виноват, — сказал старший сержант. — Он сейчас вышел из очень опасного положения, созданного мною совершенно необдуманно.

Вечером, на разборе полетов, я получил благодарность за находчивость в воздухе.

...Начинались учебно-боевые полеты на самолетах «УТИ-4» с двойным управлением. Это значило, что мы садимся уже на боевую машину — мечта осуществлялась. Полеты проходили успешно. Настроение всегда у нас было чудесное, и в часы отдыха мы много смеялись, шутили, наслаждались искусством нашего курсанта Пронина, который был изумительным имитатором. Он однажды так великолепно имитировал пьяного, что заместитель командира роты объявил ему за «пьянку» двое суток ареста, а потом с трудом поверил, что Пронин так же трезв, как и он сам.

Жизнь нам казалась безоблачной, солнечной. И вдруг...

Война!

Фашистские полчища напали на нашу страну. Мы в эти первые дни войны словно стали старше. В наших сердцах кипел такой гнев к агрессору, что каждый готов был проститься с мечтой стать летчиком и немедленно идти в действующую армию рядовым бойцом, чтобы лицом к лицу встретиться с врагом и бить его. Командному составу стоило больших трудов сдержать нас, заставить заниматься еще настойчивее, чем прежде.

— Вы должны стать летчиками, — сказал нам командир отряда. — Вражеские самолеты сейчас в нашем небе, и вам предстоит очистить его от фашистов.

Неожиданно наша учеба была прервана. Пришел приказ о переводе школы в Сибирь, подальше от дальневосточной границы, где можно было в любую минуту ожидать выступления японской армии.

На новом месте — ни домика, ни деревца. Куда ни глянешь — поле и поле. Поселились в палатках и взялись за лопаты. Прежде всего мы выровняли взлетно-посадочную полосу аэродрома. Когда она была готова, начались учебные полеты. После занятий мы вновь превращались в землекопов: приближалась зима, и до наступления морозов нужно было построить землянки. Переселились в них в начале декабря.

В это время я уже начал самостоятельные полеты на самолете «И-16», или, как его звали летчики, «ишак», «курносый». Занятия становились все напряженнее. Фронту требовались летчики, и поэтому у нас изменилась система подготовки: бралась группа курсантов, проходила ускоренное обучение и отправлялась на фронт. Как мы завидовали этим счастливцам, и, желая им боевых успехов и побед, сами подсчитывали время, когда и мы двинемся на запад.

По всем нашим предположениям, этот момент приближался, но вдруг — опять переезд. Теперь уже в Хакассию.

Дорога не обошлась без происшествий. На одной из станций я и мой друг Иван Зайцев мылись около водокачки. Когда прозвучали звонки отправления, мы, обнаженные по пояс, двинулись к своему вагону, но вдруг заметили, что в конце состава, на платформе, где был закреплен один из самолетов, лопнул трос.

— Сорваться может, — сказал Иван.

В это время поезд тронулся. Недолго думая, мы взобрались на платформу, решив закрепить трос. Мы понимали, что при уклоне или резком торможении машина может сорваться.

Зайцев, рассматривая трос, покачал головой:

— Что же мы можем сделать? Трос-то не свяжем, — он стал коротким.

— Будем держать самолет до первой остановки, — решил я.

Мы остались на платформе, внимательно следя за машиной. Через некоторое время поезд пошел под уклон, и самолет, дрогнув, медленно пополз вперед. Собрав все силы, мы навалились на него и кое-как удержали. Уклон, к нашему счастью, был небольшой. Едва передохнули, как поезд пошел на подъем — и все повторилось снова, только в обратном порядке. Мы обливались потом и от напряжения и от знойного солнца, задыхались от густого дыма паровоза. Ладони и плечи, которыми мы упирались в самолет, обжигал накаленный металл...

Не раз вспоминали мы товарищей, спокойно ехавших в вагонах, не зная, что о нас ведутся там тревожные разговоры. Оказывается, никто не видел, как Зайцев и я прыгнули на платформу. Когда поезд тронулся, нас стали искать и, нигде не обнаружив, доложили командиру эскадрильи и начальнику школы. Они вызвали Сашу, но он тоже ничего не знал. Товарищи приуныли, начальство было в недоумении. Отставание от эшелона в это время было равносильно дезертирству. Нас же знали как дисциплинированных курсантов, и вот... нас нет в вагонах! ЧП! Командиры решили на первой же станции дать телеграммы о немедленном нашем розыске.

А поезд продолжал идти. Уклоны и подъемы встречались все чаще и чаще, и силы наши начали иссякать. В редкие спокойные минуты мы обшарили соседние платформы, раздобыли несколько колодок из-под других самолетов без ущерба для них и кое-как закрепили свой. Но от движения поезда колодки все время вылезали из-под шасси, и нам приходилось непрерывно их устанавливать на место. Плечи наши покрылись волдырями, измучились мы до предела, а самолет грозил вот-вот сорваться и покалечить машины на соседней платформе. И это в такое время, когда каждая машина ценилась на вес золота!

— Сил больше нет! — прокричал Ваня. Лицо его налилось кровью.

— Добирайся по крышам до вагонов с людьми, зови на помощь, — сказал я, понимая, что нам уже дальше не удержаться.

Но тут эшелон стал замедлять ход, и мы увидели станцию.

Наш необычный вид — полуголые люди у самолета — сразу привлек внимание, и скоро мы были окружены товарищами. Доложив о том, что случилось, мы добрались до своего вагона и уснули мертвым сном. Проснулся я поздно и увидел, что до пояса покрыт вазелином. Это врач смазал наши ожоги. Следующий день мы пролежали с высокой температурой, а к вечеру с нас, как со змеи во время линьки, начала сползать кожа. Товарищи заботились о нас, как могли, попутно подшучивая:

— Будете знать, как дезертировать!

Наконец прибыли в Хакассию. Здесь мы нашли хорошо подготовленные аэродромы, получили самолеты нового типа — «Як-7б». Для того времени это были первоклассные машины. Стремясь нагнать упущенное переездом время, занимались больше, чем когда-либо. Проходили стрелковую подготовку, штурманские полеты, вели учебные воздушные бои.

В эти дни мы пережили первую потерю. Один наш курсант ушел в учебный полет на той самой машине, которую мы с Зайцевым держали на платформе. Выполнив несколько фигур, он неожиданно вошел в крутую спираль и не смог изменить положения самолета. Машина упала в Енисей.

Труп летчика и машину извлекли из воды. Стоя у могилы товарища, мы думали о том, что потери в авиации, конечно, неизбежны, но почему наш друг погиб так нелепо? Тут же мы мысленно дали себе клятву быть как можно осторожнее, чтобы сохранить себя для фронта.

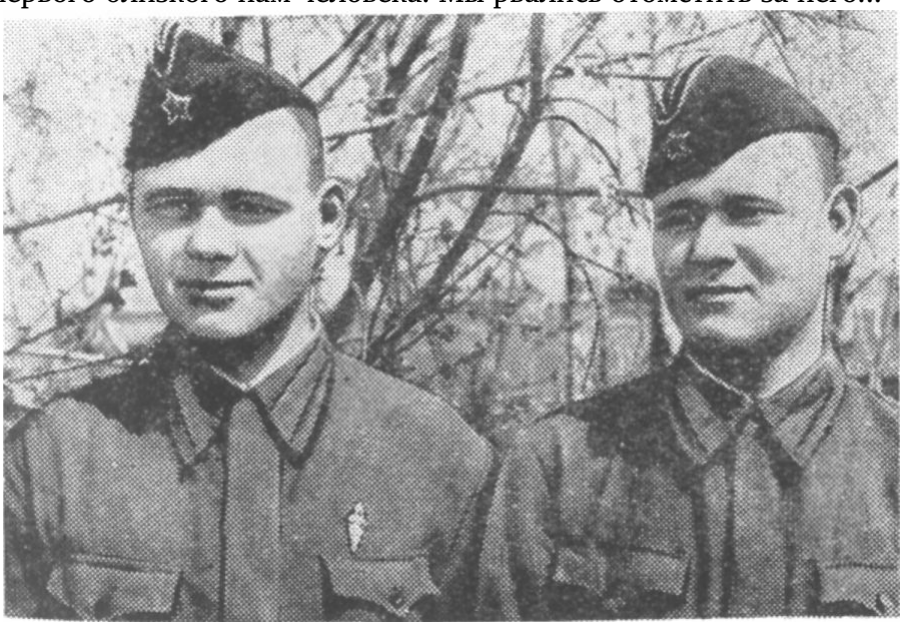
За ходом войны мы внимательно следили по сводкам Совинформбюро, по газетным материалам, делали отметки на карте.

А положение на фронтах было трудное, сложное. Враг уже на

подступах к Волге...

Саша и я продолжали переписываться с родными, с заводом. Из Хабаровска сообщали, что люди на заводе работают по две-три смены, многие сутками не покидают цехов. Узнали мы, что наш отец тоже на фронте. Он в танковом подразделении. Скоро его часть направляется на передовую. О, как нам хотелось быть рядом с ним! Саша мечтал, как мы с воздуха будем прикрывать танковые части, в которых служит отец.

Приходили и печальные вести. Гоша Старостин, которого не приняли в аэроклуб, в начале войны, полный ненависти к фашистам, ушел добровольцем на фронт и стал снайпером. Много гитлеровцев легло от его метких пуль. О его боевом мастерстве хорошо знали воины Калининского фронта. И вот в боях за освобождение города Калинина Георгий погиб. Об этом написал в Хабаровск боевой друг Старостина Петя Быков. Болью отозвалось в наших сердцах тяжелое известие. Война унесла первого близкого нам человека. Мы рвались отомстить за него...



Александр и Владимир Некрасовы в день окончания военной школы

Наша учеба подходила к концу. Приближалась пора сдачи зачетов. И вот из одного полета не вернулись Саша с инструктором. В голову мне полезли всякие мысли. Неужели Саша погиб? Как я напишу о несчастье матери, отцу? А утром стало известно, что Саша совершил вынужденную посадку,

самолет в порядке и прибудет к вечеру. Большое впечатление на нас, курсантов, произвел приехавший с фронта летчик-истребитель Герой Советского Союза Хлобыстов. Он рассказывал нам о своих полетах, о воздушных боях с немцами. Его беседы еще более усилили наше желание скорее попасть на фронт. Но раньше всех туда выехала группа инструкторов и наш командир звена Дробот. Вскоре мы стали получать от них письма. Они много писали о своем боевом опыте — слетанности пар, звеньев, взаимовыручке в бою. И мы, проводя учебные полеты, старались следовать их советам.

Но промахи у нас все же бывали. Как-то курсант Иван Непряхин вылетел на стрельбу по наземным мишеням, забыв установить высотомер на нулевое положение. И это чуть не привело его к гибели. Он вышел из пике во время стрельбы только на высоте пятнадцати метров от земли. У всех, кто следил за его полетом, так и замерло сердце. А после посадки выяснилось, что высотомер установлен на показателе «плюс сто пятьдесят метров». Непряхин получил десять суток ареста, а мы все еще раз убедились, что малейшая небрежность может привести к гибели.

Наконец наступил самый ответственный момент в жизни курсантов: прибыла государственная комиссия для приема зачетов. Школа жила напряженно, взволнованно. Непрерывно гудели в воздухе самолеты, курсанты один за другим сдавали зачеты, становились военными летчиками. Некоторые из них говорили, что во время экзаменационных полетов чувствовали себя совершенно спокойно. Уверен, что это было просто желание порисоваться перед товарищами. Когда подошла моя очередь, я очень волновался. Получив задание, взлетел, не проверив, как наполнены бензобаки. Это была непростительная оплошность, и я отношу ее именно за счет волнения.

Выполняя задание, я вдруг увидел, что в мою зону полета вошел чей-то самолет. Теперь я был обязан прекратить полет. Пошел на посадку, но с первого захода не произвел ее, так как мне помешал идущий впереди самолет. Дал газ, но мой мотор заглох. А высота — всего сто пятьдесят метров! Моментально принял решение садиться рядом с только что приземлившимся самолетом, что строго запрещено по инструкции. Но иного выхода не было! Посадка прошла благополучно, а на душе у меня было скверно. Баки оказались пусты. Теперь комиссия, конечно, меня забракует. Значит, я растяпа, ничему не научился. А случись такое на фронте?

Весь остаток дня и ночь провел плохо. Утро же принесло неожиданную радость: комиссия учла, что я принял правильное

решение, совершив посадку рядом с другим самолетом. Зачет я сдал, но внушение мне все же было сделано.

Итак, мы — военные летчики! Теперь на фронт! Навстречу врагу на крыльях победы!

Самолеты идут на фронт

Новосибирск. Маршевый полк. Выпускников нашей школы военная судьба сводит с выпускниками других школ. Завязываются знакомства.

Витя Бродинский, Дима Митрофанов, Николай Коченев, Петр Пронин, Юрий Костецкий, Павел Конгресско — вот мои товарищи по полку, с которыми я улечу на фронт.

Знакомимся с командиром полка. Майор Петр Александрович Армашов — крепкий, коренастый человек, со спокойными движениями и внимательными изучающими глазами. Встретишь его взгляд — и невольно как-то весь подтягиваешься. Нас удивило, что он уже знал всех по имени и отчеству, знал наши биографии. Беседовал майор с каждым летчиком в отдельности. Когда дошла очередь до меня, Армашов спросил:

— Хотите летать с братом в одной паре?

— Очень, товарищ майор! — ответил я, опасаясь, что нас разлучат.

Но Армашов предоставлял каждому возможность подобрать себе товарища. И это, как я понял позднее, было очень верно. Ведь подбирались товарищи, жизнь которых зависела друг от друга. Так родилась и пара братьев Некрасовых.

Через три дня нам всем присвоили звание младших лейтенантов. Мы с Сашей попали в третью эскадрилью, которой командовал капитан Егоров. Это был уже немолодой, опытный летчик, но еще не бывавший на фронте.

Звеном нашим командовал лейтенант Костецкий, ведомый у него — Витя Бродинский.

Принимаем самолеты — новенькие «яки», помогаем техническому персоналу собрать, проверить и испытать машины. Начинаем полеты в полку. Все проходит в стремительном темпе. Чувствуется требование фронта!..

Сколько времени мы ждали выезда на фронт, но когда пришел приказ об этом, он все же показался нам неожиданным. Грузим самолеты и двигаемся в путь. Мимо окон бегут просторы любимой, прекрасной Родины. Сколько богатств в недрах нашей земли, сколько труда вложили советские люди, чтобы жизнь была привольной, счастливой, богатой! И вот враг хочет все уничтожить, сжечь разграбить, а народ наш превратить в

покорных рабов. Скорее, скорее на фронт, скорее рассчитаться с фашистами за все их злодеяния!..

На одной из станций я, Саша и девушка-радистка из нашего штаба, Валя Зимина, вышли на перрон купить молока. Валя и Саша дорогой подружились. Валя была тихой, спокойной девушкой. Очень любила петь, и особенно народную песню «Вдоль по улице метелица метет». Я навсегда запомнил эту песню. В ней было столько родного, русского.

Втроем мы ходили по вокзалу и не заметили, как тронулся поезд. Когда выбежали на перрон, увидели только! последний вагон. Но эшелон двигался еще медленно. Саша сунул мне в руки термосы и крикнул:

— Беги! Я помогу Вале!

Я припустил, что было духу, и, догнав последний вагон, вскочил на подножку. Оглянулся и вижу, что Саше с Валей не догнать поезда. Мелькнула мысль, что если Саша отстанет, то мы, пожалуй, больше не увидимся, — он может попасть в другую часть. А поезд уже набирал скорость. Я спрыгнул с подножки, схватил Валю за руку, а Саше, который изрядно устал, приказал цепляться за поручни. Так он и сделал, и мы с ним втащили девушку на подножку. То ли от испуга, то ли от быстрого бега, только она потеряла сознание. Саша схватил один из термосов, что я бросил на площадке, и вылил его содержимое на Валю. В термосе оказалось... молоко. Девушка открыла глаза и долго не могла понять, что случилось. Мы же хохотали во все горло: очень уж у Вали был забавный вид. Вскоре и она к нам присоединилась.

Позднее командир полка объявил нам благодарность за то, что мы, офицеры, не бросили девушку-солдата одну, помогли ей не отстать от эшелона. С тех пор у нас на станциях вывешивался флаг — красный означал, что эшелон стоит, белый — отходит. Опоздания прекратились.

Всему бывает конец — пришел конец и нашему долгому пути. Мы выгружаемся в маленьком городке, собираем свои самолеты и начинаем их облет. На каждом шагу чувствуем близость фронта — везде эвакуированные, эшелоны раненых, госпитали...

Стоит август 1943 года. Советская Армия наносит по фашистам удар за ударом и двигается на запад, освобождая города и села от оккупантов. Наконец мы вылетаем на фронт, где ведется подготовка к новому наступлению. Накапливаются резервы. Значит, и мы встретимся с врагом!

Впереди летит лидер — «Пе-2» — средний бомбардировщик, а следом — мы на четырнадцати самолетах. Нашему звену поставлена задача следить за отстающими самолетами. Я внимательно и регулярно осматриваю воздух, а сам думаю о том,

что, может быть, завтра вот так же я буду летать и видеть самолеты врага, вести по ним огонь. И руки невольно тянутся к кнопкам пулемета и пушки, к ручкам перезарядки. Время от времени в шлемофоне слышу голос командира:

— Подтянитесь!..

Вечером мы приземлились на фронтовом аэродроме Макеевки, с которого и будем вылетать в боевые рейды. Еще перед посадкой мы зорко оглядывались вокруг, надеясь заметить фашистские самолеты, однако их не было.

Но едва мы улеглись спать в здании бывшей школы — прямо на полу, так как мебели никакой не было, — как впервые услышали звуки войны. Прилетели немецкие самолеты и начали бомбежку. Противный свист падающих бомб буквально рвал барабанные перепонки, заставлял невольно поеживаться. Когда бомба падала, грохот взрыва потрясал землю, а с потолка сыпалась штукатурка, — становилось совсем не по себе. Нет, это был не страх. Просто нами владело то чувство, которое свойственно еще не обстрелянному человеку.

А на аэродроме шла боевая работа. Там стоял полк штурмовиков, которые уходили навстречу врагу и возвращались, чтобы пополнить запас горючего и боеприпасов. Мысленно мы были с ними.

В эту ночь на аэродром вернулся один «горбатый» (так мы звали самолет «ИЛ-2») с сильно разбитым крылом. Все хвалили летчика за мастерство. К утру самолет был отремонтирован.

Так прошла наша первая ночь на фронте. Утром прилетел наш штаб и развернул работу, а техники готовили машины к боевому вылету.

Завтрак нам привезли на аэродром. Быстро проглотив немудреную стряпню, мы поспешили к машинам, что; бы замаскировать их в кукурузном поле. Затем пилотов собрали, и прилетевший к нам командир дивизии рассказал об обстановке на фронте. Мы делали пометки на своих летных картах. В это время шли бои за город Павлоград. Он еще находился в руках врага. Здесь действовала фашистская авиационная группа Мельдерса. Нас предупредили, что в ней собраны бывалые и опытные летчики, которые провели десятки боев в небе Испании, Франции, Англии, Польши.

Нам, молодым летчикам, не бывавшим еще ни в одном бою, предстояло драться с матерыми асами. У каждого немецкого летчика были на счету сбитые самолеты, а сам капитан Мельдерс уже сбил несколько десятков. Но нас это не испугало. Мы ждали приказа подняться в воздух, пока же занимались тщательным изучением района. Мы знали, что это пойдет нам на пользу. Ведь

летчик-истребитель один в самолете — он же пилот, радист, стрелок, наблюдатель за воздухом, штурман. Зная район, он будет больше внимания уделять наблюдению за воздухом, за появлением вражеских самолетов. А у истребителей есть такой закон: кто первый заметил врага, тот уже наполовину выиграл предстоящий бой.

В эти дни на аэродроме произошло неприятное событие. Несколько летчиков, свободных от дежурства, сидели в капонирах[1]. Среди них был и младший лейтенант Марченко. Мы его не любили, потому что он все время пытался показать свое превосходство над товарищами, похвастаться, не считался ни с чьим мнением, не прислушивался к советам. И вот он был жестоко наказан.

Кто-то из летчиков раскопал в стенке капонира неразорвавшуюся немецкую зажигательную бомбу. Она застряла здесь после последнего налета фашистов. Марченко неожиданно для всех швырнул бомбу за капонир. Она не взорвалась, но зловеще шипела, из нее вырывалось синее пламя. Желая порисоваться, Марченко побежал к бомбе. Летчики кричали ему, чтобы он вернулся, однако он не обращал на нас внимания. Не успел младший лейтенант сделать и нескольких шагов, как бомба взорвалась. Раненный осколками в правую ногу, наш хвастун был отправлен в госпиталь. Это произвело на всех угнетающее впечатление.

Нам была прочитана лекция, как относиться ко всему тому, что можно найти в поле, в лесу, на дороге. Ведь немцы нарочно разбрасывали различные заминированные предметы, чтобы и таким подлым способом выводить наших людей из строя...

На следующий день мы взяли курс на запад. Я увидел на месте бывших цветущих колхозных сел сплошные пепелища. В воздухе все время носился запах гари, а из-за дыма даже видимость ухудшилась. Сколько же должно было сгореть добра, чтобы и на такой высоте дым держался стойко! И все это сделали фашисты. Нет им пощады, нет им прощения!

Первый бой

Рассвет. В маленьких домиках аэродрома, где мы расположились, уже шумно. Едва ополоснув лицо прохладной водой, спешим к темнеющим силуэтам машин. Здесь проводим весь день. Даже питаемся тут: кто дежурит — тот в кабине самолета, другие — под плоскостями. Мы готовы в любую минуту подняться в воздух.

Наконец-то наша эскадрилья получила задание: прикрыть штурмовиков, которые должны пойти на бомбежку фашистских войск на восточной окраине Павлограда. По плану вылет предстоял во второй половине дня. Но мы уже задолго до этого времени забрались в самолеты. Как медленно тянулось время! Маршрут предстоящего полета проверен раз десять и зазубрен. Командир эскадрильи без устали объяснял каждому его задачу. Задачи эти разнообразны. Нам с Сашей предстояло прикрыть замыкающие самолеты штурмующей группы от возможного нападения противника.

Мы то и дело посматриваем в небо, ждем уже ушедших в свой первый боевой полет — нашу первую восьмерку истребителей и штурмовиков. Волнуемся за боевых друзей, которые сейчас сражаются с противником. Как там у них, все ли в порядке? В том же районе на разведке находятся замкомполка по политической части майор Фатин и старший лейтенант Лобастов. Они как бы прокладывают нам дорогу.

Время идет. На аэродроме нарастает напряжение. Пожалуй, нигде с таким волнением не ждут друзей, как на боевых аэродромах. Летчики ждут летчиков, чтобы узнать результаты полета, техники ждут самолеты, чтобы выяснить, как вели себя подготовленные ими машины. А все вместе ждут товарищей, беспокоясь за их жизнь, за успех боя.

— Идут! — пронесся по аэродрому единый вздох облегчения.

Глаза у всех устремляются навстречу паре истребителей. Они стремительно снижаются и проходят бреющим полетом над аэродромом. В ту пору это не считалось лихачеством, а было нормальным тактическим действием — уходить с аэродрома и возвращаться на него на низкой высоте.

Я слежу за самолетами. Они хорошо производят посадку и заруливают на свои стоянки. Мне так и хочется побежать к летчикам, расспросить их о полете, посмотреть на них, только что побывавших в бою, но я не могу покинуть самолет, а потому с завистью слежу, как направившихся в штаб Фатина и Лобастова останавливают свободные от полета товарищи, о чем-то

оживленно говорят с ними. Наверное, поздравляют с первым боевым вылетом и интересуются, что они видели и делали на линии фронта.

Но вот мое внимание отвлекает нарастающий рокот моторов. Это возвращаются на аэродром штурмовики. Быстро пересчитываю их и своих «яков». Все восемь, потерь нет! На душе становится легко и светло. Все товарищи живы!

К нашим самолетам от штаба быстро идет командир нашей эскадрильи капитан Егоров и приказывает быть готовыми к вылету. Еще раз все проверяю у себя, смотрю; на самолет брата. Саша машет рукой — все в порядке, и я вижу его белозубую улыбку.

Над аэродромом взлетают три зеленые ракеты. Долгожданный сигнал! Я запускаю мотор и выруливаю на старт. Вот в небо поднимается первая пара, за ней вторая. Теперь и наша очередь. Мы с Сашей в воздухе! Вперед, на врага! Над аэродромом появляется шестерка штурмовиков. Наш командир связывается по радио с их ведущим, а мы подтягиваемся к капитану Егорову. Штурмовики и истребители сближаются. Все происходит точно по плану, каждый занимает свое место. Мы с Сашей идем замыкающими всей группы. Она разворачивается и берет курс на Павлоград.

Набираем высоту. Я чувствую себя совершенно спокойно, как будто все происходит на очередном тренировочном занятии. Только ловлю себя на том, что, пожалуй, я был вот так сосредоточен, собран во время первых полетов там, в Хабаровском аэроклубе.

Осматриваюсь. Под нами плывет на восток земля. Воздух чист. Взглядываю на самолет Саши. Он ведет его хорошо. Чуть заметно покачал ему крыльями. Саша ответил. Я улыбаюсь: как хорошо, что рядом летит братишка! Ну и драться же мы будем! Скоро фашисты узнают братьев Некрасовых из Хабаровска!..

Проходит пятнадцать минут полета — и на курсе город. Вернее, его силуэт — город весь затянут пеленой дыма. Чем ближе мы подходим к Павлограду, тем выше поднимается дым. Вот он уже на высоте почти тысячи восьмисот метров. В городе полыхают пожарища.

Когда в стороне от самолетов стали неожиданно появляться белые и черные клубы, я не сразу понял, в чем дело. Только позднее мелькнула догадка: «Зенитки!»

Разрывы снарядов все приближались и вдруг стали перед нами плотной стеной. В шлемофоне слышу приказы, команды, работу наземных радиостанций. Кто-то предупреждает, что в воздухе находится восемь «мессершмиттов». Я оглядываюсь, но

чужих самолетов не вижу. Где же они бродят? В наушниках резкий противный свист — это немцы глушат работу наших самолетных радиостанций. А зенитки бьют все точнее. Разрывов шрапнелей так много, что, кажется, машине негде пройти. Фашисты ведут заградительный огонь, но наши штурмовики ныряют между взрывами и скрываются в густом дыму, висящем над городом. Мы с Сашей точно на невидимом буксире следуем за ними. Теперь расстояние между нами и землей быстро сокращается, и мы попадаем в полосу работы легкой зенитной артиллерии. Вокруг нас воздух прошивают трассы малокалиберных снарядов, разрывы становятся почти сплошными. Мы настигаем свою группу штурмовиков — и тут происходит досадная нелепость: один из стрелков на штурмовике потерял нас в дыму и, когда мы вынырнули, принял нас за противника и открыл по нашим машинам огонь.

«Срежет!» — пронеслась тревожная мысль, и я покачал ему крыльями.

Стрелок, очевидно, увидел свою ошибку и прекратил огонь. Представляю его самочувствие! Потом выяснилось, что это был молодой стрелок, только впервые, как и мы, вылетевший на боевую операцию. А мы с Сашей вели себя необдуманно — «горбатые» не любили, когда кто-нибудь заходил им в хвост.

Штурмовики снова скрылись в дыму. Они теперь были низко над городом. Мы оторвались от них. Мой и Сашин самолеты вырвались из дыма. Я увидел под собой железнодорожную станцию, серебристые нити путей, составы, дымящие паровозы и похожие на какие-то фантастические огненно-черные цветы разрывы бомб и реактивных снарядов. Это работали наши «горбатые».

Сколько стояло эшелонов и с каким грузом, я не успел рассмотреть. У меня еще не хватало навыка, и к тому же я боялся потерять группу, отстать от нее. Сделав второй заход над станцией, я увидел выходивших из атаки «горбатых». И невольно меня охватило восхищение: штурмовики уходили змейкой на бреющем полете.

Наши это самолеты или нет? Сомнение усилил Саша. Он спросил по радио:

— Вовка, а наши ли это «горбатые»?

Я в тревоге запросил командира группы, но он не слышал меня. Тогда я решился на крайнее — проверить зрительно — и приблизился к самолетам. Тут же облегченно перевел дыхание: на бортах номера «горбатых» нашей части, но не тех, которых я должен был прикрывать. Где же мои? Возможно, они подвергаются нападению немецких истребителей. И тут слышу по

радио:

— Маленькие (так звали штурмовики нас, истребителей, за небольшой размер самолетов), идите домой!

Я не мог понять, где нахожусь. Только оглянувшись, нашел стену дыма, поднимающуюся над городом.

Взяли курс на аэродром. Подлетая к нему, услышал голос Саши:

— Вовка, это не наш аэродром!

Что за черт! Кажется, действительно не наш! Но я же вел самолет точно по курсу! Тут я увидел кукурузное поле и в нем самолеты. Наш, наш! Ругнул про себя Сашку за панику и пошел на посадку...

На стоянке нас встретили техники, механики, летчики, поздравляли с боевым крещением, спрашивали, где еще четверка. Я не успел признаться, что точно не знаю, как послышался гул и мы увидели идущих к аэродрому «горбатых». У меня отлегло от сердца. Значит, все живы!

Я направился к приземлившемуся самолету капитана Егорова. Оказалось, что и он тоже в дыму потерял штурмовиков, крутился над станцией и не заметил, как «горбатые» вышли из боя.

Оставшись наедине с братом, мы долго и подробно обсуждали наш первый боевой полет и пришли к горькому выводу, что мы «рябчики» и «птенцы», которым еще учиться и учиться. Мы признались в этом капитану Егорову. Он понял наше состояние и сказал:

— Не сразу Москва строилась. Наблюдайте, думайте, учитесь.

Да, только так! Надо быть внимательным, изучать опыт товарищей, больше думать, иначе можно скоро стать добычей фашистов. Нужно овладевать военно-летным искусством, если ты действительно хочешь мстить врагу и выполнить свой долг перед Родиной.

Мечты о лихих воздушных схватках, которыми жили не только мы с братом, уступили место трезвым размышлениям и поступкам. Здесь, на фронте, началась новая учеба, но учеба, где каждый урок проходил под обстрелом фашистских зениток и атак немецких асов.

Однако это не пугало и не смущало. Нами владело то великое чувство, которое так помогало всем советским людям в годы войны: мы сражались за правое дело.

В эти дни мы не раз вспоминали слова великого Суворова о том, что надо воевать не числом, а уменьем. К этому вынуждала и сама обстановка: уже с третьего дня нам приходилось делать по пять-шесть боевых вылетов, а иногда и больше.

Пока наши полеты были без потерь. Но война есть война, и вскоре в одном воздушном бою погиб Николай Коченев. Капитан Егоров и Павел Конгресско вступили в неравный бой и были подбиты. На искалеченных самолетах они приземлились на нашей территории и пришли на аэродром, неся парашюты и радиостанции.

Вскоре к нам, еще малоопытным летчикам, были присланы боевые, давно участвующие в войне пилоты — младший лейтенант Сергей Панов, Алексей Ремизов старший лейтенант Александр Колдунов. Они начали летать с нами, и в боевых схватках передавали нам свое искусство уничтожения врага.

Двадцатое сентября. Этот день — новая ступень в моей жизни. Рано утром мы поднялись в воздух и взяли курс на передний край, чтобы прикрыть наши наземные войска, начавшие передвижение. Идем на высоте двух тысяч метров. Чем ближе фронт, тем сильнее шумы в наушниках: обрывки команд, переговоры, свист, грохот, электроразряды. Передний край хорошо виден с высоты. Он отмечен пожарами, фонтанами взрывов снарядов нашей и немецкой артиллерии.

Шли восьмеркой. Но у самого переднего края я пересчитал самолеты и с удивлением увидел, что их значительно больше. Откуда другие? Чьи они? Я как-то не сразу обратил внимание на черные, с тонким профилем машины, которые замешались среди наших. Я шел за Колдуновым и думал, что он все видит и знает и поэтому мне нечего беспокоиться. Но тут Колдунов вошел в крутой вираж, а я до боли в глазах, стремясь не отстать от него, тянул на себя ручку управления. И вдруг понял, что идет воздушный бой и я нахожусь почти в его центре!

Вот передний самолет, за которым погнался Колдунов, резко накренился на левое крыло и на его фюзеляже открылся черный крест, обведенный белой каймой. Такой же крест был и на крыле. Фашист! Меня точно обожгло. А самолет густо задымил и пошел к земле. Потом он вспыхнул, как факел. Когда Саша Колдунов открыл по нему огонь, когда он его сбил, — я пропустил. Я был зол на себя. Но раздумывать об этом было некогда — наперерез Колдунову шла пара черных самолетов. «Да это же «мессеры», — мгновенно понял я и сразу же сообщил по радио ведущему:

— «Мессеры» слева выше!

А сам развернул самолет навстречу фашистам. Колдунов резко довернул влево, и мы оказались с ним на одной линии. Немцы неожиданно взмыли вверх и на большой скорости пронеслись над нами. Я успел заметить, что на них обрушились сверху два наших «яка». В это время Колдунов вошел в крутой вираж, я за ним, но чуть ниже, хотя это и давалось мне с большим

трудом. Я видел только самолет ведущего, а остальное словно было закрыто какой-то мутной пленкой.

Наши самолеты вновь лезут вверх, и я вижу, что за нашими «яками» гонятся четыре «мессера». «Яки» уходят под нас. Колдунов открывает огонь по одному фашисту, я беру в прицел другой вражеский самолет, нажимаю на кнопки пушки и пулемета. Мои трассы тянутся к «мессерам», но пролетают то выше, то ниже их. Я никак не могу попасть в фашиста.

Колдунов выходит из атаки и, набирая высоту, пристраивается к паре «яков», я следую за ним. Выше нас вижу еще четыре «яка». Но где же противник? Он куда-то исчез. Сердце мое бешено бьется, и мне кажется, что его стук заглушает и работу мотора, и шум в наушниках. Я весь покрыт потом. Но в душе поднимается что-то торжествующее, радостное: я стрелял по фашистам, я вел с ними бой!

Вражеские машины больше не появлялись. Мы вернулись на свой аэродром и, возбужденные только что пережитым, стали разбирать наш бой. Никто из нас его не видел полностью, каждый участвовал лишь в каком-то эпизоде. И вот теперь, рассказывая о своих впечатлениях, мы помогали составлять общую картину. А Колдунов так умело сложил наши наблюдения, что нам все стало ясно и понятно. Тут же Колдунов очень тактично указал на наши ошибки и просчеты и подсказал, как надо было бы действовать. Вполне заслуженно Колдунов стал нашим боевым учителем, и мы начали не только следовать его советам, но и вообще подражать ему во всем...

Вечером около нашего домика заиграл баян, и на его голос потянулись летчики, техники, девушки из штаба и батальона аэродромного обслуживания. Подошел Павел Конгресско и раскрыл свой портсигар, в котором застряли два маленьких осколка зенитного снаряда. Они появились во время боя, когда Павел был сбит. Он не вытаскивал осколки и шутил, что после войны сдаст портсигар в музей.

Мы закурили и молча слушали баяниста — старшего сержанта, механика моего самолета Виктора Руднева. Играл он превосходно. Это был врожденный музыкант. А когда он заиграл популярную в то время песню «Идет война, народная, священная война...», — все подхватили ее, и песня поплыла над аэродромом. Это была не просто песня — это был рассказ о нашей сегодняшней жизни, о наших думах и чувствах. Когда растаяли в вечернем воздухе последние звуки мелодии, мы долго сидели молча, думая каждый о своем.

Но вот Виктор заиграл вальс, закружились пары — и словно не бывало задумчивого, чуть грустного настроения. Сыпались

шутки, раздавался смех. Мы веселились, забыв на какое-то время о войне...

Немецко-фашистские войска под ударами наших частей оставили Павлоград и закрепились у станции Синельниково. Мы перелетели на аэродром у села Ново-Николаевка. Первые дни воздушных боев не было — фашистская авиация спешно меняла свои позиции.

Однажды мы с командиром звена Колдуновым заметили на дороге большой фашистский обоз. Стремительно снизившись, из пушек и пулеметов разбили передние повозки. Обоз смешался, лошади сворачивали с дороги, давили гитлеровцев, опрокидывали повозки. А мы с бреющего полета продолжали поливать их свинцовым дождем. На повозках стали рваться ящики с боеприпасами. За нами пикировала вторая пара нашего звена, самолеты вели Ремизов и Саша. Не прошло и пяти минут, как обоз был уничтожен.

С большим опозданием фашистские зенитчики открыли огонь, но мы, сделав по последнему заходу, уже уходили домой.

Боевые будни

Вскоре меня взял в пару заместитель командира майор Николай Иванович Слива, и мы стали вместе ходить на боевые задания. Мне было лестно, что я летаю с опытным командиром, но в то же время это накладывало на меня большую ответственность. Все полеты с ним были удачны, но вот однажды мы после обеда вылетели вместе с двенадцатью штурмовиками для нанесения удара по станции Мокрая. Здесь немцы грузили свои войска, чтобы перебросить их на правый берег Днепра — там у них готовилась новая линия обороны.

Станция Мокрая находилась далеко от переднего края. Нам пришлось идти над территорией, занятой врагом, на высоте в две с половиной тысячи метров. Я думал о том, что вести бой над линией фронта или над своей территорией куда проще и безопаснее. В случае, если самолет будет подбит, можно спланировать в расположение своих войск или спуститься на парашюте, а тут... Да что говорить!

Едва мы перелетели передний край, как фашистские зенитчики начали стрелять. Их огонь провожал нас на всем пути. Немцы словно передавали нас по эстафете, но пока потерь не было. Лавируя между разрывами, мы приближались к цели. Когда уже показалась станция, нам навстречу поднялись две восьмерки «Мессершмиттов-109». А наших истребителей было всего десять.

Вот и станция. Наши штурмовики, построившись в круг,

начали расстреливать немецкие эшелоны, а мы, прикрывая своих, завязали бой с фашистскими истребителями. Мы шли двумя ярусами — в первой группе было шесть истребителей, во второй — четыре. Если «мессерам» удастся прорваться через первую группу, ее встретит вторая, но до штурмовиков им не добраться.

Первая группа, в которой был и я, врезалась в строй «мессеров». У них горизонтальная маневренность хуже, чем у наших «яков», и это сразу дало нам преимущество. Мы быстро разбили строй немецкой восьмерки. Майор Слива и я вышли выше немцев, а остальные наши четыре самолета гнались за четверкой фашистов. Те оказались как бы в клещах. Четыре других «мессера» были выше нас и бросились в атаку с пикирования на нашу пару, но мы успели выйти из-под их огня и оказались около станции. Там все превращалось в обломки от бомб наших штурмовиков.

— Давай, давай! — шептал я, словно подбадривая товарищей.

В это время зенитный огонь отрезал меня от майора, а когда я вновь увидел его, то похолодел от страха за командира: крыло его самолета было разбито зенитным снарядом, но он все же держался и шел на сближение со своей четверкой. Два «мессера» тоже увидели подбитую машину и устремились к ней. Я развернулся и дал заградительный огонь. На помощь к нам подошли два «яка». Оглянувшись, я увидел падающий «мессершмитт», его сбил кто-то из наших. Тут передо мной появился другой немец, и я послал в него очередь из пушки и пулеметов. Все снаряды легли в цель. Но вот надо мной пронесся новый фриц, я погнался за ним... А самолет майора горел. Чем и как помочь?.. Пошел к земле горящий «мессершмитт». Мой первый сбитый «мессер»!

Но радость победы омрачалась положением командира. К тому же я заметил падающих сверху четырех «мессеров». Закричал по радио двум «якам», на которых нацелились гитлеровцы:

— Внимание! Четыре «мессера» слева, выше!

А сам кинулся им наперерез и дал длинную очередь. «Яки», предупрежденные мною, пошли в лобовую атаку на фрицев. Те не любят этого русского приема — не выдерживают нервы! Уклонились и на этот раз.

Фашисты уходили на подъем и стали для меня прекрасной мишенью. Я нажал кнопки, но... выстрелов не последовало: у меня кончились боеприпасы. Не умею я экономить патроны и снаряды, вот и хватило мне их только на четыре очереди. Вышел из атаки, осмотрелся и увидел двух «яков» — это пара Колдунова. Они ходили большими кругами, а в центре этого круга на

парашюте опускался майор Слива. Внизу лежал лесной массив, фрицев в воздухе больше не было видно. К нам присоединилась еще одна пара «яков». Штурмовики возвращались на свой аэродром.

В эфире спокойно. Солнце у самого горизонта. Ровно работает мотор, только что завывавший от перемены режима и нагрузки.

Мы ходим кругами над майором, но вот он уже на такой высоте, что нам остается лишь печально покачать крыльями и идти домой. На душе тяжело. Неужели мы потеряли командира?

А через несколько дней мы узнали, что майор Слива опустился на парашюте мертвым — он умер в воздухе от ран. Его подобрали местные жители и похоронили.

Особенно тяжело переживал потерю майора я. Я же был его ведомым и, как ни успокаивали меня товарищи винил в его гибели себя. Даже поздравления с первым сбитым фашистом не могли унять моей боли. Выходило, что я, сбив самолет, потерял товарища. «Один на один, — думал я, — много не навоюешь». Потом я узнал, что в этом бою сбили по «мессершмитту» еще два наших истребителя. Мы же потеряли один самолет, а штурмовики все вернулись на аэродром.

...Саша радовал меня все больше и больше. Он становился хорошим летчиком, жил только воздухом да еще своей любовью. Его чувство к Вале Зиминой все росло и крепло. И хотя товарищи часто подтрунивали над ним, он не обижался, а отвечал шуткой. Эта любовь только помогала Саше, придавала сил. Но у Вали каждый Сашин полет вызывал всегда глубокое волнение и страх. Однако она умело это скрывала, никогда не рассказывала Саше о своих тревогах, а, наоборот, успокаивала его:

— Я же знаю, что ты хорошо дерешься с фашистами и никогда не дашь себя сбить. Ведь правда? Я всегда уверена в тебе.

Как был счастлив брат! После каждого полета он так подробно рассказывал девушке о нем, что мы шутили:

— Саша готовит нам нового летчика!

— А что? — задорно говорила Валя. — Может, и буду летать с Сашей в паре!

Войска оккупантов продолжали отступать. Они с упорными боями отходили к Запорожью. У нас каждый день шли жаркие воздушные бои. Мы похудели, устали, говорили мало, забыли о шутках. Только Саша и его друг Паша Конгресско по-прежнему были веселы, будто на них и не действовало огромное напряжение. Они пытались развеселить и нас и часто во все горло затягивали вечером нашу любимую «Вдоль по улице метелица метет...»

Нам было не до песен. Швыряли в друзей все, что попадало под руку, но они не умолкали. Загоняли их под нары — они и там пели. В конце концов и наше настроение поднималось, и мы присоединялись к ним. Хорошее настроение!.. Как это было важно и нужно!

Я подметил у Саши и Павла одну черту: из какого бы трудного полета они ни возвращались, у них всегда было такое задорное настроение, словно они только что совершили загородную прогулку. И мы невольно начинали им подражать.

...Два дня идет обложной дождь. Черно-серые тучи низко висят над землей, струи воды стекают по стеклу. Погода явно нелетная. Сыро, неуютно и немного тоскливо.

Свободные дни используются для политической учебы тактических занятий. Особенно горячо обсуждаем вопрос как лучше летать, в каком строю. Но как бы ни были горячи споры, мы тоскуем о полетах и тяжело переживаем, что не принимаем участия в боях, в нанесении новых ударов по врагу.

На третьи сутки «метеобоги» пообещали к утру хорошую погоду, и мы получили боевое задание. Наконец-то вырываемся в небо. Мы должны прикрыть наши наземные войска от ударов немецких бомбардировщиков и штурмовиков.

Утро. Четверка за четверкой покидает аэродром. За десять минут до вылета к нам подходит командир полка и говорит, что пойдет с нами со своей четверкой.

Идти в бой с «батей», как мы звали командира, — почетно. Мы искренне рады. Он же увидит нас в боевой обстановке! Вот это экзамен! Каждый мысленно дает себе приказ показать в этом полете все свое умение и мастерство, выдержку и хладнокровие.

Мы в воздухе. «Батя» идет справа от нас и ниже. Вот и линия фронта. Замечаю далеко впереди какую-то черную точку.

— Самолеты противника! — докладываю я по радио. Все наши летчики предупреждены. Мы набираем высоту, пользуясь тем, что с нашей стороны довольно густая облачность, а с немецкой — чистое голубое небо.

Вражеские самолеты приближались. Это была шестерка «Ю-87» — «лапотников» (у них во время полета не убиралось шасси). Мне еще не приходилось драться с бомбардировщиками, и я с любопытством рассматривал эти машины. Они все ближе и ближе. Мы уже готовы были броситься на них, как нас из-за облаков неожиданно атаковали двенадцать «мессершмиттов». Первым заметил истребителей врага командир звена Саша Колдунов. Он умело вывел свои самолеты из-под удара и предупредил командира полка об опасности. «Мессеры» свечой ушли в облака, применяя свой излюбленный маневр, а

«лапотники», обнаружив, что остаются одни, пустились удирать на свою территорию. За ними погнался «батя». У него была большая скорость, и бомбардировщики, видя, что вот-вот будут настигнуты, бросили бомбы над своими войсками, чтобы только спастись самим. Волчий прием, волчья хватка: лучше убью товарища, а сам спасусь!

Но нас со стороны солнца атакует пара «мессеров», а еще выше, метров на шестьсот, — вторая пара. Начинается бой... Появляются еще четверо фрицев...

После долгих и сложных маневров мы сбиваем сначала один немецкий истребитель — это работа Саши Колдунова, затем поджигаем второй, из него выбрасывается на парашюте летчик. Бой разгорается. Фашисты дерутся упорно, настойчиво, не желая уступать своего превосходства в воздухе. Однако потеря двух машин действует на них удручающе. Перевес на нашей стороне. Когда бой подходит к концу, последняя пара фрицев бьет по самолету «бати». Ему грозит опасность, но внезапно между ним и немцами появляется самолет штурмана полка капитана Белоусова и принимает на себя всю очередь. Все происходит быстро и неожиданно.

Гитлеровцы исчезли, а самолет штурмана накренился, клюнул вниз, но удержался и, качаясь из стороны в сторону, пошел к нашему аэродрому. «Батя» его сопровождал. Мы пока остались на линии фронта, но немцы больше не показывались, и через двадцать минут нас сменили самолеты из другой эскадрильи.

Мы торопились на базу. Спешили узнать, что случилось со штурманом полка, который собою прикрыл в воздухе командира. Дотянул ли он до аэродрома?

Когда нам навстречу подходили сменяющие нас самолеты, наш командир спросил:

— Сел наш штурман?

— Сел. Ранен в ногу.

Прийдя на аэродром, мы уже не застали Белоусова — его отвезли в госпиталь. Он еще в воздухе потерял много крови, сел с большим «промазом», выкатился на бахчи, вспугнув спавшего там механика. «Батя» сел за Белоусовым. Увидев, что штурман не выходит из самолета, Армашов бросился к нему. Капитан был без сознания. Командир полка вытащил его и на руках донес до санитарной машины. У Белоусова оказалась раздробленной правая ступня. В строй он больше не вернулся.

Мы, однополчане, часто вспоминали капитана Белоусова, он служил для нас примером.

Если ему попадутся эти записки — прошу принять от меня

самый горячий привет...

Последний бой был позорным для немецких летчиков, считавшихся асами. Они задумали дать нам реванш и приняли «гениальное» решение: воевать не умением, а числом. И вот немцы создали на нашем участке фронта численный перевес — благо на них работали авиационные заводы всей Европы.

Начало этого воздушного реванша мы почувствовали уже на второй день. Шестерка Колдунова, в которой находились мы с Сашей и наши друзья Костецкий, Панов и Ремизов, вылетела на прикрытие переднего края. Но едва мы подошли к линии фронта, как нас встретили восемь «мессершмиттов». Они неслись прямо на нас. Я услышал в шлемофоне голос Колдунова:

— Что-то фрицы обнаглели. Дадим-ка им прикурить!!

Мы врезались в строй «мессершмиттов» и начали бой. Когда все завертелось в обычном смертном хороводе, неожиданно появилось еще четыре «мессера». Теперь на каждый наш самолет приходилось по два вражеских. Видно, фрицы детально разработали этот бой — действовали они очень слаженно.

Деремся не только как смертельные враги — советские люди, отстаивающие свободу и независимость своей Родины, и фашисты, стремящиеся поработить ее, деремся и как представители двух воздушных военных флотов, уверенные в превосходстве своего самолета, своего летного искусства.

Панов атакует двух «мессеров», которые набросились на нашу переднюю пару. Но на него, как воронье, уже несутся два других «мессершмитта». Еще мгновение — и самолет Панова превратится в клубок огня. Я бью по фрицам из пушки и пулеметов. Густые трассы отсекают гитлеровцев от Панова, и они, увертываясь, прекращают атаку. Я доволен — у фрицев не выдержали нервы. Но торжествовать рано. В бой ввязывается новая четверка фашистских машин. Самолеты, и наши и вражеские, так перепутались, что я на мгновение теряю ориентировку и не могу разобраться в кувыркающемся рое машин, путанице огненных трасс.

Примерно картина выглядела так: наш «як» догоняет «мессершмитта», за «яком» гонится пара фашистских машин, их атакует наша пара «яков», а нас атакует пара «месеров». И все это крутится колесом в небесном просторе, прошивая воздух серыми, красными, зелеными трассами. А между ними вспыхивают разрывы зенитных снарядов.

Зенитный огонь — все гуще и гуще, воздух быстро темнеет от дыма и разрывов, еще труднее становится разглядеть, где свои, где вражеские самолеты. Я прекращаю огонь, чтобы по ошибке не прошить товарища. В шлемофоне чудовищная какафония — визг,

скрежет, вой, свист, сквозь которые то и дело прорываются слова команды:

— Смотри, справа!

— Уходи под меня!

— Бей фрица!

Бой наш идет на больших скоростях. Мы выжимаем из машин все, что в них заложено чудесной мыслью и талантом советских конструкторов. Я выхожу из одной фигуры замысловатого пилотажа, чтобы тут же войти в очередную. До сих пор у меня не было такого напряженного боя, как этот.

Воздушная схватка становилась все ожесточеннее. Вражеские машины и наши свились в клубок, тесный и злой. Всеми нами овладела такая ненависть и такой боевой азарт, что мне даже и сейчас трудно об этом говорить спокойно. Позднее летчики шутили, что наш бой принял «рукопашный характер». И действительно, если бы кто-либо смотрел на нас со стороны, он бы заметил, что машины почти касались друг друга. Я иногда мельком видел лица фашистских пилотов, искаженные ненавистью злобой, страхом.

Напрягаю зрение и стараюсь разобраться в обстановке. Вот Панов гонится за двумя «мессерами», а те пристраиваются в хвост ведущей паре «яков». У меня сжимается сердце: неужели сейчас фашисты собьют их? Мы с Пановым бросаемся на выручку товарищам, но те, заметив грозящую им опасность, неожиданно переходят на «свечу» и исчезают из поля зрения где-то в высоте.

Опять немцы парой «мессеров» пытаются нас отрезать от своих. Я кричу по радио:

— Панов, справа!

А сам бросаюсь на фашистов и даю длинную очередь по ведущему. Попал я или не попал — не мог определить, так как в этот момент на правой плоскости моей машины поднялся ослепивший меня сноп огня. Раздался глухой взрыв снаряда, и необыкновенная сила перевернула мой самолет, а в ногу что-то сильно ударило. На какую-то долю секунды я потерял сознание, а придя в себя, обнаружил, что продолжаю лететь вниз головой. Ремни, на которых я повис, сильно резали плечи.

Мысль лихорадочно работает: что произошло? Что надо делать? Моментально приходит решение: нужно вернуть машину в нормальное положение. Начинаю выравнивать самолет. Он очень неохотно подчиняется рулям. Быстро теряю высоту, вхожу в крутое пикирование со скольжением на правое крыло. Меня придавливает к левому борту, но я с облегчением чувствую, что машина слушается, и осматриваюсь. На правой плоскости, где находился крыльевой бак, зияет большая пробоина с рваными

краями, сквозь нее видно небо. От быстрого движения воздуха фанера отламывается кусками, и они мгновенно исчезают за самолетом. Дыра все увеличивается!

Меня охватывает тревога: самолёт разваливается в воздухе! Нужно сказать, что в то время «яки» были не цельнометаллические, а с фанерными крыльями, фюзеляж — наполовину из перкаля. Сооружение хоть и добротно сделанное, но уж если начнет ломаться, возможности на спасение остаются маленькие. А тут еще из пробоины потянул сизо-черный дым. Этого только не хватало!

Я с большим усилием перевожу самолет в крутое скольжение на левую плоскость и пытаюсь потушить пожар. Пробоина в крыле нарушила центровку самолета, что сказалось на поведении машины в полете. Мне приходилось держать ручку двумя руками, но и этого было мало, и я помогал себе еще коленом. А машина так и стремилась перевалиться на правое крыло — ведь площадь правой плоскости значительно уменьшилась.

Самолет падал со все нарастающей скоростью, земля стремительно приближалась, и я, помимо своего желания, удалялся от боя. Бросив взгляд на высотомер, я увидел, что до земли еще полторы тысячи метров. Из правого крыла по-прежнему шел дым. Неужели не удастся сорвать пламя? Еще падаю пятьсот метров и вздыхаю с облегчением: дым исчез.

Но дальше падать уже нельзя. С огромным трудом вывожу машину в горизонтальное положение и осматриваюсь — не гонится ли кто. Ни своих, ни вражеских машин не видно, но за мной тянется пунктир зенитных разрывов.

В эти секунды борьбы с угрожавшим мне пожаром я забыл о наземном враге, и теперь он быстро пристреливался ко мне. По разноцветным разрывам определил, что огонь ведут пушки «Эрликон». Уклоняюсь от разрывов, пытаюсь помешать зенитчикам точно пристреляться, и в этом мне помогает подбитая машина: она производит такие неожиданные движения, что сбивает с толку зенитчиков, а меня заставляет напрягать все силы, чтобы дотянуть до своего аэродрома.

Потом я посмеивался: зенитчики, следя за необычайными маневрами моего самолета, очевидно, думали, что я сильно ранен. Это подогревало их желание заполучить легкую добычу, и они не жалели боеприпасов.

Высота все время падает. Вот уже и пятьсот метров. Самолет плохо слушается рулей, но я тяну на нашу территорию. А пробоина в плоскости становится все больше и больше. Она, как язва, расползается. Сквозь нее я вижу, как подо мной проплывают поля, лесные массивы, домики какого-то села. Внезапно чувствую,

что становится труднее дышать. В кабине и раньше попахивало дымом, но, занятый выведением самолета из падения и уходом от зенитного огня, я не придавал значения этому. Неужели где-то самолет горит? Но огня я не вижу. Зато замечаю, что правый борт машины изрешечен осколками разрывного снаряда и сквозь пробоины светит солнце. Обнаруживаю все новые и новые повреждения: разбит тахометр — счетчик оборотов, разбит «пионер», показывающий крен и скольжение машины, вышел из строя компас, разбиты часы, и большая стрелка беспомощно болтается на вывороченной оси...

Вот мое внимание вновь отвлекается рывком самолета. Он упрямо стремится к земле, падает на правое крыло. Едва удерживая машину в горизонтальном положении, я решаю убавить скорость. Тогда управлять будет легче. Я словно с кем-то советуюсь и подбираю газ, увеличиваю шаг винта, или, как говорят летчики, затяжеляю винт.

Сразу управлять становится легче. Думаю о товарищах, которые ведут трудный бой. Как там сейчас нужен каждый человек — ужасно обидно, что какому-то фрицу удалось подбить меня. Нужно быть осторожнее, осмотрительнее, внимательнее.

Сильно дает себя чувствовать острая боль в правой руке. Но не до этого сейчас мне. Обжигает мысль: кончается бензин, до аэродрома не дотяну. Надо использовать остатки бензина в правом баке, над которым зияет пробоина! Переключаю питание на правый бак, но мотор, проработав немного, глохнет. Становится необыкновенно тихо и как-то жутко. В шлемофоне по-прежнему раздаются разряды, треск, но тишина все плотнее окутывает машину. Винт беса шумно вертится от встречного потока воздуха.

Самолет теряет скорость. «Что же с правым баком?» — думаю я и быстро переключаюсь на левый. Мотор, сделав несколько вспышек, заработал, и ко мне вернулись спокойствие и уверенность. Всем телом чувствую, как машина идет вперед, вижу на земле знакомые ориентиры и иду прямым курсом на аэродром.

Правая рука как-то необыкновенно горит. И только сейчас я замечаю, что весь рукав гимнастерки потемнел. Зажимаю левой рукой правую выше локтя — и на перчатке появляется кровь. Смотрю на себя в зеркало, предназначенное для осмотра задней полусферы. Вижу красное, мокрое, в пятнах крови лицо. Нижняя губа рассечена осколком снаряда, и кровь тяжелыми каплями падает на грудь. С трудом достаю левой рукой носовой платок, чтобы задержать кровь, обтереть лицо. Самолет так и норовит вырваться из послушания, поэтому все делаю очень медленно. Невольно думаю: а целы ли зубы? Сжимаю их до скрежета. Целы!

Значит, осколок ранил только губу. Осмотреть подробнее раненую руку не могу, так как нельзя и на мгновение отпустить управление.

Наконец аэродром. Посадку решаю сделать прямо с ходу, хотя самолет очень ненадежен. Делаю разворот, выпускаю шасси, щитки и готовлюсь к посадке, но тут справа появляется «горбатый». Меня как будто ошпарило кипятком. Что делать? Ведь я чудом держусь в воздухе. Но дорогу надо уступать — таков порядок, таков наш закон. К тому же слышу приказ с аэродромной станции:

— Маленький! Идите на второй круг!

Эх, если бы там знали мое положение! Однако делать нечего. Даю газ, но мотор не отзывается. Он не работает. Кончился бензин. Вот теперь от меня требуется искусство планирования. Перехожу на правую сторону от «горбатого» и на этом теряю высоту, которая всегда так необходима при посадке подбитого самолета. Положение становится все более и более угрожающим. Машина сильно кренится вправо. Я стараюсь удержать ее в правильном положении. Боль в руке все острее, все нестерпимее. Нервы напряжены до предела .

Приказываю себе:

— Держаться, держаться...

Неужели же упаду? Скорость и высота уменьшаются катастрофически быстро. А тут еще наземная станция назойливо требует ухода на второй круг.

Не хотелось мне сообщать о своем положении, но сейчас это необходимо. Нажимаю кнопку передачи, говорю:

— Подбит! Мотор не работает! Сажусь.

С облегчением слышу, что теперь «горбатого» гонят на второй круг, а мне дают дорогу. Спазмы перехватывают дыхание. Спасибо, друзья! Но «горбатый» не слышит, и мы садимся вместе.

Самолет так резко потерял скорость, что спутал все мои расчеты. Так и кажется, что я сейчас врежусь в землянки, расположенные на краю аэродрома. Приходится брать ручку. Готовлюсь убрать шасси, если не перетяну через землянки, но прохожу над ними почти впритирку, а затем между столбами телеграфной линии под проводами. До посадочного «Т» еще далеко, но теперь это неважно. Надо хоть как-то сесть, не разбиться. А машина все больше и больше кренится на правое крыло. Она уже не слушается рулей.

Наконец у меня вырывается вздох облегчения. Самолет вздрагивает, правое колесо касается земли, и машину немного разворачивает, но я с этим справляюсь: даю резко левую педаль — выравниваю направление, и самолет бежит по летному полю.

Я на земле, но опасность еще не миновала: штурмовик в воздухе и меня не видит. При посадке летчик всегда смотрит вперед, влево, а что делается с правой стороны — вне поля его зрения. Я поступаю точно так же и не оглядываюсь назад, потому что в этом случае обязательно собьешься с направления и уклонишься влево. При таком положении тяжелый бронированный «Ил-2» догонит меня и раздавит.

Проносится посадочное «Т», мелькают стоянки самолетов. Я с тревогой прислушиваюсь. Готов к любой неожиданности. Может, у моей машины повреждено шасси? Или колеса?.. И вдруг вижу, что через посадочную площадку бежит человек «Задавлю», — мелькает мысль. Я выхватываю ракетницу и стреляю по бегущему, чтобы остановить его, предупредить об опасности. Человек падает на землю в тот момент, когда плоскость проносится над ним. Над аэродромом появляется еще несколько самолетов. Они готовятся к посадке, но им может помешать моя машина, которая совсем уже медленно ползет по посадочной полосе.

Пока еще есть инерция, разворачиваю самолет вправо, нарушаю все правила и ухожу на свою стоянку. В это время «Ил-2», догнав меня, идет со мной плоскость в плоскость. Но вот и моя стоянка. Машина замирает на ней, а «горбатый» идет дальше. Пот крупными каплями бежит по моему лицу. Опасность миновала.

В изнеможении сижу в кабине и не двигаюсь. Со всех сторон бегут люди. Ревя сиреной, их обгоняет санитарная машина. Чтобы успокоить товарищей, я торопливо расстегиваю ремни и выскакиваю на плоскость, но тут же острая боль пронизывает правую ногу, и я падаю. «Неужели перебита нога и все кончено?» С трудом сажусь на плоскости рядом с пробоиной. Только сейчас вижу, что правого бака вообще нет в самолете, он выбит вражеским снарядом. А я на него переключал мотор!

У самолета визжит тормозами санитарная машина. С ее подножки спрыгивает командир полка и спрашивает у меня.

— На чем вы прилетели? На этом решете?

Самолет действительно был как решето — весь зиял пробоинами от мотора до хвоста. Командир подошел ближе и заботливо спросил:

— Сам-то как?

— Да вот что-то нога… — как можно спокойнее сказал я.

Тут меня подхватили крепкие руки подбежавших товарищей и понесли к машине. Через минуту с меня сняли сапоги, а в ноге обнаружили осколок, засевший ниже щиколотки. Молодая медсестра Маша сказала:

— Сейчас мы его удалим!

На ее лице появилось подчеркнутое выражение сосредоточенности и озабоченности, как это всегда бывает у молодых специалистов. В этот момент ко мне подошел Армашов. Я сказал ему:

— Товарищ командир, там очень жарко. Помочь бы надо нашим.

— Уже послана помощь, — ответил он и стал наблюдать за Машей, которая все еще возилась с осколком,

Лицо ее покраснело и покрылось бисеринками пота. С каждой минутой Маша чувствовала себя все более беспомощной. Ее пинцет не мог справиться с глубоко засевшим осколком и все время срывался. Механики, летчики — все молча наблюдали за ней. Вдруг Армашов сказал одному из техников:

— Руднев, плоскогубцы!

Я никак не думал, что эти слова могут иметь отношение ко мне. Однако через несколько секунд «батя» присел около меня с плоскогубцами и, захватив осколок, резким движением выдернул его из ноги. Боль была такая стремительная, что я и вскрикнуть не успел. А «батя» с видом заправского хирурга сказал ошеломленной Маше:

— Сделайте перевязку!

Затем взялись за мою руку. Сняв с меня рубаху, Маша осмотрела рану и коротко сказала:

— И здесь плохо. — И, наскоро перевязав, приказала: — В машину!

Поддерживаемый товарищами, я забрался на сиденье и услышал, как Маша говорила командиру:

— Ранение мягких тканей.

Меня доставили в лазарет полка, где зашили рану на руке и перебинтовали ногу. Врач предупредил, что нога будет болеть долго, хотя кость задета немного. Утешение слабое! Мне же хотелось летать, сражаться, громить врага. Несмотря на попытки врача уложить меня в постель, я настоял на своем и вернулся на аэродром, чтобы узнать, как закончился бой, скоро ли отремонтируют мой самолет.

Всю дорогу я думал о наших пятерых летчиках, которые сражались против двенадцати фашистских асов. Чем закончилась эта неравная схватка? Неужели подбит кто-нибудь еще, кроме меня? В машине я ехал рядом с Машей — она возвращалась на свое дежурство на аэродроме. Медсестра о чем-то расспрашивала меня, но я отвечал рассеянно. У аэродрома я распрощался с Машей:

— Спасибо за помощь. Приходите вечером на танцы!

— Сейчас вы танцор плохой, а позднее посмотрим, — сказала

она с лукавой улыбкой.

Я направился к своему самолету, около которого стояла группа людей. Первым меня встретил инженер полка, па мой вопрос о товарищах он ответил:

— Из боя вернулись все в целости. Только твоему братишке в хвост фрицы два снаряда вогнали. Но мы уже залатали. А вот у твоего самолета ранения посерьезнее — долго придется с ним повозиться, прежде чем он снова поднимется в воздух.

Теперь я сам мог внимательно осмотреть свою машину. Неприглядная картина предстала моим глазам. Разбит передний лонжерон, плоскость превращена в решето, правый борт фюзеляжа изорван, бак вырван. В общем, машина направлялась в авиамастерскую.

Настроение у меня упало, и даже как-то сильнее заболели раны. Значит, летать мне не скоро. Я заковылял от машины. Меня встретили товарищи, только что вернувшиеся из боя, и я узнал подробности того, как был подбит.

Панов, виновато улыбаясь, сказал:

— Я увидел, как к тебе пристроился фриц, и бросился на него, но чуть-чуть опоздал. Он уже успел продырявить твою плоскость. А потом я продырявил его самого.

Последние слова Панова потонули в смехе ребят. А он уже серьезно продолжал:

— Задымил ты, как сырые дрова в костре. И я подумал, что...

Он не договорил, но все поняли его. Мы несколько секунд молчали, с волнением думая, как стали дороги близки друг другу.

— А во второй эскадрилье сегодня опять двух потеряли, — тихо проговорил кто-то.

Лица наши стали печальными. Второй что-то последнее время не везло. Она несла большие потери.

— Так будем воевать, скоро без машин останемся, — сказал Конгресско. — Фашистам самолеты, кажется, подкинули.

Это мы знали. В каждом бою у них был перевес — на одну нашу машину приходилось по две гитлеровские, а иногда и по три.

— Воевать надо лучше, — заявил Саша. — А то нас, как рябчиков, перещелкают.

Он был прав. Нам надо было воевать еще лучше, несмотря на численное превосходство гитлеровцев.

Саша поправил мне повязку на руке. Летчики молча следили за нами и, хотя ничего не было сказано, я понимал, что друзья глубоко сочувствуют мне.

Я наблюдал за товарищами. В последние дни они выглядели

особенно усталыми и измученными: бои требовали большого нервного и физического напряжения. Труднее всего доставались бои на вертикалях, во время которых возникала такая перегрузка, что и разогнуться было невозможно в кабине. От ларингофонов на шее образовывались кровоподтеки, потому что все время нам приходилось вести круговой обзор. Эти кровоподтеки я сейчас видел у каждого летчика. Плечи, натертые парашютными лямками, болели. А во время дежурства в самолете ноги немели и потом долго не отходили.

Однако ни разу за все время я не слышал, чтобы летчики жаловались на трудности. Бывало, лишь скажет кто-нибудь:

— Что-то немного приустал, — упадет на постель и сразу же погружается в глубокий сон. Да, война была трудной работой!

Война и люди

Итак, я стал «безлошадником», как называли мы летчиков, потерявших в бою свои машины. Я свободен и могу отдыхать, часами валяться на койке, отсыпаться и залечивать свои раны. Однако каждое утро я вместе с товарищами отправлялся на аэродром.

В тот день утро выдалось свежее, прохладное. Воздух казался необыкновенно чистым, и только на западе горизонт закрывала черная туча. Это над линией фронта поднимался дым пожарищ и сражений. Ниже этой тучи то и дело вспыхивали оранжево-блеклые огоньки — разрывы зенитных снарядов. Фашисты били по нашим «кукурузникам», которые непрерывно бомбили вражеские позиции. До нас доносился приглушенный расстоянием гул бомбежки.

С аэродрома поднялись первые самолеты, и в воздухе поплыла пыль. Теперь она будет держаться до самой ночи, покрывая все тонким скрипящим серым слоем. Рабочий — боевой день летчиков начался. Я с завистью смотрел вслед улетавшим. Как тяжело летчику оставаться на аэродроме, когда его товарищи уходят на боевую операцию! Душой, сердцем, мыслями я был с ними.

У моего самолета собрались механики, инженер, Конгресско, который тоже был «безлошадником». Только начали обсуждать, как быстрее отремонтировать машину, как я был вызван к командиру полка. Армашова застал около КП. Он, поздоровавшись, спросил:

— Как себя чувствуете?

— Нормально!

— Нормально? — усмехнулся Армашов. — А вот доктор

говорит совсем другое. Немедленно ложиться, иначе отправлю в лазарет!

Пришлось подчиниться...

Рана на руке постепенно затянулась, а нога побаливала. Наконец мне разрешили выходить на воздух. Я целыми днями лежал около посадочного «Т» или сидел в своем самолете, который не отправили в мастерские, а ремонтировали на месте, и наблюдал за улетавшими и возвращавшимися товарищами.

Когда можно было уже свободно передвигаться, стал помогать командиру выпускать и принимать самолеты, тренировался в меткости стрельбы по мишеням.

Стояло бабье лето. Погода была на редкость хорошей! Сейчас бы мне летать да летать, а тут вот изволь сидеть на земле. Товарищи, видя, что я пошел на поправку, стали подтрунивать надо мной, цитируя горьковские слова: «Рожденный ползать, летать не может...» Но на дружескую шутку не обижаются. Я знал, что скоро поднимусь в воздух. В моем самолете уже были заменены все разбитые приборы, отремонтирован фюзеляж. Остановка была только за плоскостью. В эти дни состоялось наше знакомство с новым фашистским самолетом. Произошло это так. Я дежурил на посадочном «Т». Из боевого полета возвращалась группа самолетов первой эскадрильи. Я по привычке, установившейся у нас, пересчитываю машины и обнаруживаю, что одной нет. Неужели сбили? Неужели кто-то из летчиков погиб? Или он просто отстал? Или совершил вынужденную посадку?

Мрачное предчувствие оправдалось: не вернулся летчик Сигайло. Товарищи рассказывают подробности, с болью произнося имя друга.

Наши обнаружили над передним краем фашистскую «раму», которая вела разведку, а ее прикрывали четыре истребителя. Их вид был незнаком нашим летчикам, и это их несколько озадачило. Что за самолеты, какие у них возможности, боевые качества? Мы слышали, что немцы ввели новые машины на других участках, но нам видеть их еще не приходилось.

Замешательство было недолгим. Лейтенант Гура первым ринулся на незнакомые истребители. Те охотно приняли бой. В это же время Сигайло и Козловский атаковали раму. С первого захода Козловский убил или ранил немецкого стрелка, так как с «рамы» прекратился огонь. «Рама» очень маневренная машина, и фашистский летчик умело использовал это качество, бросая ее из стороны в сторону, чтобы больше не дать возможности нашим самолетам вести прицельный огонь.

Сигайло и Козловский сделали несколько заходов, но неудачно — снаряды и пули шли мимо «рамы». Тогда Козловский

снизу под большим углом подошел к «раме» и хотел дать по ней очередь, но гитлеровец это вовремя заметил и резко на него развернулся. Самолеты пронеслись мимо друг друга.

«Рама» выскочила на Сигайло. Он открыл по фашисту огонь и так увлекся стрельбой, что не успел отвернуть. Поставил самолет на крыло, ударил этим крылом по балкам «рамы» и перерубил их. Тут же потерял половину своего крыла, и его самолет вошел в штопор.

Товарищи видели, как Сигайло выпрыгнул на парашюте. К нему ринулись тупорылые немецкие истребители. Это были

новые самолеты — «Фокке-Вульф-190» (позднее мы их называли просто «фоккерами»). Немцы пытались расстрелять нашего летчика, но им помешали его друзья, которые отогнали их. Сигайло приземлился. Четыре гитлеровца не выдержали напора трех наших летчиков и ушли. А на земле догорали остатки рухнувшей и взорвавшейся «рамы».

Мы все надеялись, что Сигайло приземлился благополучно на нашей территории и вернется в свою часть...

После этого боя командир собрал летчиков и показал несколько снимков нового фашистского самолета, а также рассказал о всех его качествах. Нам стало известно, что немцы на наш участок фронта подбрасывают свежие авиационные части, вооруженные новой техникой. Вражеское командование готовило какой-то удар, и нам надо было быть начеку.

Когда совещание закончилось, меня отозвал в сторону Саша и протянул белый конверт.

— Читай!

Это было письмо из дому. Мать и сестра рассказывали о своей жизни, писали, что тревожатся за нас, желали нам боевых успехов и скорейшего окончания войны. В письме будто и не было ничего особенного, но в то время оно значило для нас очень много. Получить весточку из дому — что могло быть дороже, приятнее, радостнее для фронтовика! Белые простые листки дышали домашним теплом, родительской лаской. Они будили такую ненависть к врагу, оторвавшему нас и миллионы таких же, как мы, от мирной жизни и родных, что мы готовы были сейчас же вскочить в самолеты и бить, бить врага!

С большим интересом я прочитал строки о родном заводе. Многие молодые рабочие ушли с завода на фронт, а их места заняли пожилые люди, женщины-домохозяйки и подростки. Работают они самоотверженно. Из этого же письма мы узнали, что наш отец, бывший дальневосточный партизан, с оружием в руках защищавший завоевания Октября на дальневосточной земле, сражавшийся против интервентов и белогвардейцев, уже побывал в боях.

Отец воюет вместе с нами, тоже бьет фашистов! Взволнованные этой новостью мы присели на белое полотнище «Т», так как трава аэродрома была серой от пыли, и принялись писать ответ.

Перед нашими глазами встали картины далекого родного Хабаровска: школа, левый берег Амура, где мы любили отдыхать, товарищи... Ведь всему этому угрожал враг. Нет, никогда мы не допустим, чтобы гитлеровец или самурай овладел нашим Амуром! Никогда!

Домой мы написали теплое спокойное письмо, чтобы не волновать родных. Писали, что живы, здоровы, иногда летаем, но полеты безопасны, что фашисты отступают и победа уже не за горами. Когда письмо было написано, Саша хотел незаметно вложить в конверт фотографию Вали.

Я спросил:

— Хочешь, чтобы мать на нее посмотрела? А серьезно это у тебя?

Я был старше, и я имел право на такой вопрос. Саша взглянул мне в глаза и, хотя лицо его пылало от смущения, сказал:

— Да, Владимир, очень серьезно. Я люблю Валю. Она такая хорошая...

В чувствах Саши и Вали я не сомневался. Это была настоящая, чистая любовь двух чудесных молодых людей.

Я от всего сердца хотел им счастья и был рад, что Саша не пытается скрыть свою любовь от матери, посылает ей фотографию своей невесты. «Вот кончится война, — подумал я, — и как хорошо мы все заживем в Хабаровске» О нашем родном городе Валя уже многое знала из рассказов Саши и мечтала увидеть могучий Амур, походить по широким площадям и улицам Хабаровска, работать вместе с нами на заводе… но все сложилось иначе. Суровая действительность внесла свои жестокие изменения в наши планы.

Едва мы заклеили конверт, как раздалась команда: — Младший лейтенант Александр Некрасов, на дежурство!

Саша ушел к своему самолету, а я, растянувшись на полотнище посадочного знака, смотрел в небо, в небо своей Родины, спокойствие и чистоту которого нарушили черные самолеты врага. «Недолго это будет продолжаться, — думал я. — Скоро небо Родины вновь будет чистым. На наших крыльях придет победа!»

К вечеру у меня разболелись раны, и я рано улегся, но заснуть мне не удалось. В комнату, где стояло девять коек, с шумом ворвался Павел Конгресско и закричал:

— Чего лежишь? Вставай! Айда на танцы!

— Не хочу, да и нога... — начал я, но он перебил меня:

— Новая врачиха у нас в части. Красавица такая, что только охнешь да ахнешь. Идем!

Несмотря на мое сопротивление, Павел вытащил-таки меня на танцы, которые шли под открытым небом вблизи нашего домика. Разливался баян в руках Руднева, легко кружились пары, хотя под ногами был не навощенный паркет, а земля, и на ногах — тяжелые кирзовые сапоги. Ведя меня к танцующим, Павел говорил:

— У тебя самый удачный повод с ней познакомиться. Покажи ей свои боевые дырки. Расскажи, как громил фрицев. Наверное, ей понравится. Романтика! Она же только из Москвы!

Я искренне удивлялся способностям Павла, уже успевшего узнать все подробности о новом враче. Он говорил:

— Знаешь, Нина Георгиевна — почти ученый. Она готовит кандидатскую диссертацию.

Мы подошли к танцующим, и Павел показал мне врача. Это была стройная молодая женщина. Фигуру ее красиво облегала шерстяная гимнастерка. Лицо приятное, еще не успело загореть. Глаза большие, выразительные, в длинных ресницах. Губы слегка подкрашены. Я уселся в сторонке и стал наблюдать за танцующими. Заметил, что к нашей новенькой часто подходили мои товарищи, приглашали танцевать, но она всем отказывала.

«В чем дело?» — недоумевал я, искоса поглядывая на женщину. Сидел я довольно близко от нее и вдруг с удивлением увидел, что в ее больших голубых глазах промелькнуло явное презрение. Это взорвало меня. Стараясь меньше хромать, я подошел к ней и спросил с вызовом:

— После московских танцплощадок вам, наверное, странно видеть эти танцы?

Нина Георгиевна медленно осмотрела меня с ног до головы и неопределенно пожала плечами.

— Ужасно! — вырвалось затем у нее. Но это был не возглас человека, попавшего в незнакомую трудную обстановку и растерявшегося от всего увиденного, не возглас сочувствия. В голосе ее прозвучало пренебрежение.

— Поживете — привыкнете, — сказал я с усмешкой и, чтобы как-то переменить разговор, добавил, что у меня разошелся шов на руке.

С женщиной произошло неожиданное превращение. Она приняла официальный вид и холодно сказала:

— Придете завтра, я вас осмотрю.

Я насмешливо поклонился:

— Не буду вас беспокоить, пойду сейчас в лазарет...

Да, первое знакомство с новым врачом оставило неприятное впечатление.

А на следующий день у нас с ней произошла новая встреча, которая показала, что и врач-то она неважный. Бывает, что человеку прощаешь многое, если он хороший специалист и умело, добросовестно выполняет свое дело. Здесь не было и этого.

Утром я проводил брата и Ремизова в боевой полет. Они полетели на разведку к Запорожью, еще занятому врагом. Когда

самолеты скрылись, я увидел, что на холм, где располагался наш КП и радиостанция, быстро поднимается Валя. Лицо ее от быстрой ходьбы раскраснелось и похорошело еще больше. Она глубоко дышала. Весело поздоровавшись со мной, Валя как-то по-особенному доверчиво посмотрела на меня. Я догадался, что Саша рассказал ей о нашем разговоре во время отправки письма домой. Присев, Валя спросила:

— Куда пошла эта пара?

— В Запорожье, на фрицев посмотреть.

Лицо Вали сразу стало настороженным. Глаза наполнились тревогой. Девушка молча смотрела в сторону фронта, сразу как бы уйдя от меня. Она была сейчас вместе с Сашей в его полете. С благоговением я вспоминаю Валю и подобных ей девушек, которые делили с фронтовиками все трудности, вместе с ними без ропота и жалоб несли службу. И как было прекрасно, если между ними возникали светлые хорошие чувства! Мне хочется с гневом и презрением отмести все гадкие разговорчики, грязные намеки, которые иногда позволяли себе мещане и обыватели по адресу наших фронтовых подруг, наших настоящих друзей. Честь и слава им, прекрасным девушкам-солдатам!..

Наше молчание нарушил приход командира полка. Валя передала ему шифровку, которую принесла из штаба.

С КП мы ушли вместе. Заговорили о каких-то посторонних вещах, но вдруг Валя неожиданно остановилась и схватила меня за руку.

— Знаете, мне тяжело ждать. Я иногда даже плачу, пока Саша не вернется.

На глазах у нее выступили слезы. Я старался ее успокоить:

— Саша — хороший летчик. Не «рябчик». Все будет в порядке.

В этот момент я даже позавидовал брату: у него такой хороший друг, товарищ, любимая. Я прошел еще несколько шагов, и тут меня остановил женский голос:

— Одну минуточку, товарищ младший лейтенант.

Я обернулся. Ко мне подходила Нина Георгиевна. Вид у нее был по-прежнему официально холодный.

— Пойдемте, я посмотрю вашу руку.

Я отказался. Она настаивала и даже пригрозила, что будет жаловаться командиру полка. Что ж, я подчинился. Мы молча пришли в санчасть, необыкновенно чистую и светлую. Это была положительная черта нашего молодого врача — она была до педантизма чистоплотна. Стащив гимнастерку, я протянул ей руку. Она осмотрела ее довольно небрежно и казала равнодушным тоном:

— У вас все в порядке. Когда вам зашили ее: вчера, позавчера?

Я был ошеломлен: врач, который готовит диссертацию, не может отличить недельный шов от однодневного! Сначала у меня мелькнула мысль, что она шутит, но Нина Георгиевна была совершенно серьезна. Я объяснил, что шов семидневный, и ушел. Побродил по поселку. Над головой проносились самолеты, уходившие на боевые задания или на тренировки. Мимо проезжали машины; оглушительно треща моторами и поднимая клубы пыли, мчались мотоциклисты; шли люди. Все были заняты, озабочены, только один я ходил без дела, и это просто бесило. Я не знал, куда себя девать. Побывал в парашютной, затем направился в штаб, расположенный в доме на краю села. Шел медленно, ругая про себя техников, которые все еще возились с моим самолетом. Сейчас бы только летать и летать. Ведь какая хорошая погода стоит! Да и нога уже меньше болит. Просто удивительно, как быстро на фронте заживают раны. Молодость, сила, здоровье и жажда сражаться с врагом берут свое.

Снова пришло письмо из дому. Обстановка на Дальнем Востоке была тревожная. На границе участились провокации японской военщины. Квантунская армия угрожала нашему тылу. И нам приходилось держать на Дальнем Востоке большие воинские силы, чтобы, если понадобится, отразить нападение Японии.

А как те войска нужны были там, на фронте против фашистов! Но дойдет очередь и до вас, самураи! Мы вспомним все! Наш удар будет беспощадным!

Где брат?

Подойдя к штабу, я услышал плач. Оглянулся — никого нет. Плач доносился из-за угла. Заглянул и увидел Валю. Прижавшись к шершавой деревянной стене лицом, она плакала навзрыд. Плечи ее вздрагивали.

— Валюша, что с вами? — подбежал я к ней. — Валюша! Вас обидел кто-нибудь?

Услышав мой голос, Валя обернулась и бросилась мне, выкрикивая сквозь слезы:

— Саша! Саша!

Меня точно огнем обожгло: что-то стряслось с братом! Я взял Валю за руки:

— Спокойнее, ну спокойнее! Что случилось-то?

Всхлипывая, Валя с трудом выговорила, что Саша не вернулся из полета, об этом даже в дивизию сообщили. «Сашка, Сашка! — с

болью подумал я. — Неужели ты погиб?

— Сейчас все узнаю, — сказал я Вале и заковылял на КП, не обращая внимания на боль в ноге. Немного не доходя до КП, я замедлил шаг и, отдышавшись, вошел в землянку. Там слышались громкие взволнованные голоса. Увидев меня, товарищи замолкли. Я переводил взгляд с одного летчика на другого:

— Что случилось? Говорите, что случилось?

Все молчали. От нар отошел Ремизов, я его только сейчас заметил, и взял меня за локоть:

— Владимир! Хоть убей, я не знаю, где и как это произошло!

— Да что, что случилось?! — выкрикнул я. — Рассказывай наконец!

Меня била мелкая дрожь, и я вынужден был присесть на нары. Ремизов, виновато поглядывая на меня, рассказал о полете.

Выполнив задание, он и Саша возвращались домой. Когда приблизились к линии фронта, увидели, что восемь наших яков ведут бой с десятью «юнкерсами».

— У меня горючее было уже на исходе, но я все ж решил помочь своим, — говорил Ремизов.

В землянке стояла тишина. И хотя Ремизов повторял рассказ, все слушали его внимательно.

— Прежде, чем ввязаться в бой, — продолжал Ремизов, — я посмотрел на самолет Саши, который все время шел слева от меня, и... не нашел его. Не было его и справа. Я запросил по радио: «Саша, где ты?» Несколько раз запрашивал, но ответа не получал. Прошел над линией фронта, — Сашиного самолета нигде нет. Бой ушел в сторону, и я на последних каплях горючего дотащился до аэродрома.

Ремизов умолк. Он сидел, опустив голову, и рассматривал свои пальцы.

— Может, в бой он ввязался? — спросил я с надеждой.

— Кто его знает? — вздохнул Ремизов. — Едва ли. До боя было далеко, и я бы заметил Сашу.

Мы терялись в догадках. Куда девался Саша? Высказывались самые различные предположения.

В землянку заглянул посыльный из штаба:

— Младший лейтенант Некрасов, к командиру полка!

— Наверно, что-нибудь узнали о Сашке, — крикнул я и, превозмогая боль в ноге, побежал на КП.

Поднимаясь на холм, где была радиостанция КП, я с удивлением услышал, что наш «батя» разговаривает с женщиной. Обычно женщины не посещали КП. Во время полетов у наших летчиков, хотя мы с этим и боролись, часто в трудную минуту вырывались крепкие словца. А тут на КП женщина спокойно

говорит с командиром полка. Удивление возросло еще больше, когда я увидел Нину Георгиевну.

Командир полка поздоровался со мной за руку, что он делал очень редко и что считалось у нас проявлением большого внимания и уважения со стороны Армашова. Пригласив меня сесть, он спросил:

— Ты уже знаешь?

Я кивнул головой.

— Я запросил все наблюдательные пункты, — сказал Армашов. — Передал в дивизию и на передний край, позвонил в штаб армии, чтобы они проверили по всем госпиталям. Скоро узнаем, где твой брат. Думаю, что совершил вынужденную. Во-первых, держи себя в руках и, во-вторых, на Ремизова не обижайся. Война есть война! Уверен, что Саша не пропал. Может, ввязался в бой. Эх, молодость! Сынки, сынки!..

В голосе Армашова появились какие-то новые для меня теплые нотки. Мы с братом были самыми молодыми летчиками в полку, и командир полка не только называл нас сынками, но и относился к нам как строгий, но внимательный и заботливый отец. Сейчас он вместе со мной тяжело переживал исчезновение Саши.

— Восьмерка из первой эскадрильи ушла на прикрытие наших бомбардировщиков. Посиди за рацией — сказал мне Армашов и обратился к врачу: — Осматривали младшего лейтенанта?

— Да, руку, — почему-то неуверенно ответила Нина Георгиевна.

— А ногу?

— Разве он ранен и в ногу? — удивилась она.

— К сожалению, доктор, — усмехнулся Армашов.

В это время командир звена первой эскадрильи Гура запросил землю. Я включил приемник на полную мощность и установил, что воздух чистый. Мысли вновь вернулись к судьбе брата. Но прошло всего несколько секунд и на нас повеяло атмосферой боевого напряжения и опасности, которая так знакома летчикам. Гура быстро изменившимся голосом доложил, что над своим звеном заметил восьмерку мессеров, и в довольно крепких словах высказал о них свое мнение. Командир полка укоризненно покачал головой, увидев, как вспыхнула и покосилась на приемник Нина Георгиевна. Батя сказал:

— Не обращайте внимания. Конечно, это плохо, но им сейчас там не до подбора вежливых слов.

А из эфира доносились обрывки фраз, команды:

— Смотри, справа! Чего рот разинул?!.

— А, сволочь, попался! Я сейчас тебя...

— Тринадцатый, прикрой!

— Сергей, куда тебя черти несут? Смотри, под тобой фриц!

Мы застыли, не сводя глаз с приемника. Где-то в небе шел бой с врагом, дрались товарищи. Я заметил, что мои пальцы машинально, по привычке сжимаются, будто в них ручка управления самолетом. Бой, видимо, разгорался. Команды становились все быстрее и отрывистее. Кто-то из летчиков, очевидно, дав удачную очередь по фашисту, выругался с таким веселым подъемом, что наш врач моментально исчезла с КП.

Бой закончился скоро. Фашисты удрали, потеряв один самолет, а наши в полном составе возвращались на аэродром. Командир полка сказал мне:

— Идите отдыхайте!

Я вернулся в землянку летного состава. Однако через несколько минут вышел. Товарищи не разрешали себе обычных разговоров, считая их неуместными в моем присутствии. Стояло тягостное молчание. Чтобы не связывать друзей, я направился на аэродром и не заметил, как оказался около капонира, в котором совсем еще недавно стоял самолет Саши. Вернется ли он когда-нибудь сюда опять? Неужели я больше никогда не увижу брата, не услышу его голоса?

Я подошел поближе, точно надеясь встретиться с Сашей, и увидел механика его самолета старшего сержанта Володю Шувалова. Он стоял на коленях и медленно застегивал инструментальную сумку. Механик покидал капонир.

— Уходишь? Значит, Саша... — голос у меня прервался.

Шувалов вскочил на ноги и опустил голову. В руках он мял пилотку. Мне стало жаль его:

— Ничего, Шувалов, ничего. Будешь еще ты Сашкин самолет ремонтировать.

— Черт с ним, с самолетом, — почти крикнул Шувалов. — Лишь бы командир вернулся!

На глазах Шувалова показались слезы. Он неумело смахнул их. Между механиками и летчиками обычно устанавливалась такая дружба, которая делала их по-братски близкими. Малейшая неудача или, тем более, гибель летчика переживалась механиками очень тяжело.

— Пожитки собираешь, значит, приказали тебе... — снова начал я, но Володя перебил меня:

— Нет. Пойду помогу ваш самолет ремонтировать, а то без дела тяжело сидеть.

— Спасибо. — Я крепко пожал руку механика, и мы разошлись.

Я побродил по аэродрому — трудно было успокоиться. Но еще труднее было одному, тянуло к людям. Тут я подумал о Вале и взглянул на часы. Прошло три часа, как мы расстались. Она с нетерпением ждет меня, ждет, что я принесу хорошие вести. А с чем я к ней приду, что скажу утешительного?

Медленно брел я по пыльной дороге к штабу. Вот поравнялся с маленьким белым домиком, где на квартире у одинокой старушки жила Валя. Толкнул калитку и вошел в чисто подметенный двор. По нему ходила с метелкой в руках хозяйка. Увидев меня, она печально закивала головой:

— Дома, дома. Плачет все... — и указала на дверь, приглашая войти.

Домик был из двух комнат. В первой, занятой русской печью, столом и топчаном (это было все, что осталось после нашествия фашистов), жила хозяйка. Вход во вторую был завешен полотняной занавеской. Из-за нее доносился плач.

— Валя, к вам можно?

Девушка откинула занавеску. Глаза ее были красные от слез, лицо опухло. Мне до боли стало жаль Валю, — хотелось ее успокоить, но нужные слова не шли с языка:

— Разве так можно? Посмотрите на себя, — только и смог я сказать и подал ей зеркало.

Валя отстранила его и снова заплакала. При виде ее страданий я как-то забыл о своих и старался утешить девушку, как мог. Наконец по моему настоянию она умылась холодной водой, немного взяла себя в руки.

— Слезами мы положения не исправим, — говорил я. — Будем надеяться на лучшее. И, кроме того, надо мстить врагу, и мстить не только за Сашу, а за всех наших погибших людей. Вы работали сегодня?

Валя отрицательно покачала головой.

— Плохо! Я вот тоже бездельничаю. Хватит! Конец! Завтра попрошу у командира полка его самолет и сделаю несколько вылетов.

Девушка с благодарностью подняла на меня глаза. Они снова наполнились слезами.

— Только без слез, Валя. Вы любите Сашу, он любит вас, — я все знаю и желаю вам большого, настоящего счастья. Однако ведь Саша — летчик-истребитель, вы должны помнить об этом и приготовиться ко всяким неожиданностям. Но я верю, что мы скоро встретимся с Сашей!

Просидел я у Вали до поздней ночи, как-то немного отвлек ее от грустных размышлений, и на мои шутки она раза два улыбнулась...

Моей мечте вылететь на следующий день не суждено было осуществиться. Командир полка приказал сидеть на КП, а сам отправился по стоянкам самолетов. День стоял хмурый, холодный. Ветер вздымал тучи пыли и коричневых листьев, гнал в вышине серые облака. Самолеты не поднимались, и поэтому работали только наземные радиостанции. Какая-то «Заря» вызывала упорно молчавший «Днепр». Я несколько раз пошарил по эфиру, затем убавил звук, и снова мною овладели невеселые мысли. Возникали самые невероятные планы поисков Саши.

От этих бесполезных размышлений отвлек меня телефонный звонок. Дивизия вызывала командира полка. Он в этот момент как раз поднимался на КП, и я передал ему трубку. Уже по первым его ответам я понял, что разговор идет о Саше и что пока никаких утешительных вестей нет.

— Будем ждать, — сказал в заключение Армашов, попрощался, опустил трубку и посмотрел на меня своими глубокими, умными, все понимающими глазами. — Не падай духом. Сашу найдем. Сколько уже было подобных случаев.

Командир полка, точно так же, как я Валю, пытался успокоить меня, а затем направил в штаб за кодом — нам предстояла большая работа по составлению новых летных карт.

В штабе я прежде всего зашел к Вале. Она держала в руках какой-то конверт и, казалось, так погрузилась в изучение адреса, что не слышала, как я подошел к ней. Только когда я ее дважды окликнул, она с волнением и грустью посмотрела на меня и протянула письмо:

— От вашего отца. Что же мы ему напишем о Саше?

— Пока подождем с ответом, — я надорвал конверт.

«Здравствуйте, дорогие мои сыновья, Владимир и Александр, — читал я вслух, чтобы слышала Валя, строчки, написанные знакомым почерком. — Прежде всего я хочу сообщить, что я уже командую отделением автоматчиков танкового десанта. Дорогие мои, давайте бить врага со всех сторон: я — на земле, а вы — с воздуха. Не будем давать гадам пощады, пока хоть один фашист останется на нашей земле... Мне пришлось биться с немцами в брянских лесах. Для танков здесь очень плохо: негде развернуться, нельзя дать большого хода — кругом болота. Двигаемся только по дорогам, да и то лишь ночью».

Свое письмо отец заканчивал так:

«Сегодня мы стоим на отдыхе. Получил я письмо из дому. Там все в порядке. Обязательно напишите мне, как вы воюете, довольно ли вами командование. Шлю вам свой отцовский наказ: бейте фашистов так, чтоб не пришлось мне краснеть за вас. Крепко обнимаю и целую. Ваш отец».

Я встретился с ожидающим взглядом Вали.

— Нет, сейчас отвечать отцу не будем. Подождем несколько дней, неделю, полмесяца. Когда все станет ясно, тогда и напишем! — ответил я.

Во мне росла убежденность, что брат жив. Вон и Валя смотрит на меня уже с надеждой, — ей передалась моя уверенность, что мы снова увидим Сашу.

— Спасибо, Володя, — шепчет она и пожимает мне руку. — Спасибо. Я верю, что Сашенька снова будет с нами!

Когда летчик совершает вынужденную...

Дни шли за днями, а мы по-прежнему ничего не знали о Саше. Наконец к исходу второй недели стало известно, что он приземлился где-то на нашей территории. Но его до сих пор не могут обнаружить. Что с ним? Жив ли он? Тяжело ранен? Трудно мне, очень трудно! В душе все жарче закипает ненависть к врагам...

Закончен наконец ремонт моего самолета. Накануне полетов я никак не мог заснуть и вышел на улицу. Ночь была холодная. В темном небе плыла полная луна, перемигивались крупные звезды. Я прислонился к стене дома и смотрел на яркую Полярную звезду, на Большую Медведицу, что уперлась своим ковшом в горизонт, и какие-то бессвязные обрывки мыслей бродили в голове.

— Не спится, товарищ командир? — неожиданно раздался тихий голос. Я оглянулся. Подле меня стоял механик Сашиного самолета.

— Да, не спится. А ты что бродишь?

— Ходил смотреть самолет, как сохнет ланжерон, который днем клеили, — ответил механик. — Проверял зажимы. Не отошли. — Он вздохнул, помолчал, с надеждой спросил: — Ну, а как мой командир?

— Вернется. Скоро вернется! Вот сегодня лейтенант Гура тоже не возвратился. Но нам известно, что он сел в пяти километрах от линии фронта на вражеской территории. Выбраться оттуда трудно, а мы знаем, что он непременно вернется. — Я говорил с каким-то упрямством, точно спорил с кем-то, кого-то убеждал...

Становилось все прохладнее, и мы разошлись. Весь следующий день лил дождь, и только к вечеру немного прояснилось. Это позволило заместителю командира эскадрильи Лобастову облетать мою машину. Я с волнением следил, как самолет взмывал в небо, как выполнял фигуры высшего

пилотажа, проходил бреющим полетом над посадочной полосой. Лобастов до войны был летчиком-инструктором, и техника пилотирования у него была безукоризненной. Все, кто находился на аэродроме, любовались точностью и красотой его полета.

После посадки Лобастов выбрался из кабины, плоскогубцами подогнул триммеры[2] на левом и правом элеронах[3] и сказал мне:

— Завтра сам проверишь. Немного кренится влево машина, а так все нормально.

Наш разговор прервал подбежавший механик Руднев:

— Гура пришел! Ночью через линию фронта перебрался!

Мы поспешно направились в первую эскадрилью. Там было шумно и многолюдно. Товарищи окружили Степана, засыпали вопросами, поздравляли с возвращением. Я жадно смотрел на высокого, красивого летчика и думал о Саше. Вот Гура вернулся, а где ж Саша?

Вдруг я заметил, что в лице Гуры появилось что-то новое. Что же? Присмотрелся внимательнее. Лицо похудело, глаза ввалились, а от виска к виску вокруг головы лейтенанта шла широкая полоса седины. А ведь еще сутки назад у Гуры, который всего на два года старше меня, не было ни одного седого волоска.

Степан, радостный и взволнованный, рассказывал о случившемся.

В бою, где четверо наших истребителей дрались с восемью «мессершмиттами», самолет Гуры подбили, и Степан сразу же вышел из боя. Используя высоту, он стал планировать и оказался над полем, изрытым воронками. Садиться на шасси было рискованно, и Гура довольно удачно сел на «живот». Он проехал фюзеляжем по полю и остановился перед широкой воронкой. Выбрался из кабины, осмотрелся. Вокруг никого не было. Обследовал машину. Она оказалась совершенно целой, лишь с правой стороны в моторе было несколько пробоин.

Поднять самолет было нельзя. Тогда Гура принялся отвинчивать радиостанцию. Но в это время начался артиллерийский обстрел — где-то недалеко были вражеские позиции, и наша артиллерия вела по ним огонь. Некоторые снаряды стали падать на поле, где приземлился самолет. Степан побежал к ближайшей воронке, скатился на ее дно и лег вниз лицом. Сила обстрела все нарастала. Дрожала земля. От мощных взрывов болели барабанные перепонки. В воронку заползал удушливый дым, вызывая кашель. Но вдруг все кончилось так же неожиданно, как и началось. Наступила тишина. Оглушенный, Гура несколько минут лежал не двигаясь, потом осторожно выглянул из воронки. По всему, что предстало перед глазами,

догадался, что здесь прошел вал огня наших «катюш». Степан поискал глазами свой самолет, но на его месте заметил лишь груду догорающих обломков. Гура вновь скатился на дно воронки и лежал там, собираясь с силами. Как же ему быть дальше? Что делать? Тут он забылся и пришел в себя от какого-то разговора. Прислушался и понял, что вблизи беседуют два немца. Летчик вытащил пистолет, взвел курок. «Буду отбиваться до последнего патрона. Последний — мне».

Немцы говорили о чем-то очень долго, потом их голоса стали стихать. Подождав немного, Гура выглянул из воронки, предварительно сняв шлемофон, и увидел спины удалявшихся гитлеровцев. Он мог уложить их обоих, но боялся, что выстрелы привлекут внимание других немцев. Затем Степан стал восстанавливать в памяти курс, по которому летел, и составил себе приблизительный маршрут возвращения к своим. Решил идти только ночью. Карты у него не было, но был компас. Когда совсем стемнело, Степан выбрался из воронки и направился на восток по обгорелой, изрытой земле. Слева и справа темнел лес, но Степан боялся углубляться в заросли — там могли оказаться немецкие механизированные части. Шел, часто останавливаясь и прислушиваясь. Несколько раз ложился на землю, но ничего, кроме глухих ударов, не мог разобрать. То ли вдалеке рвались снаряды, то ли где-то бомбили. Все время сверялся по компасу, боясь сбиться с пути. На каждом шагу его могли встретить или окликнуть фашисты. Но в этот раз счастье сопутствовало ему. Внезапно Гура вспомнил, что в полночь должна показаться луна, и его охватила тревога: он будет далеко виден. Ускорил шаг, прислушиваясь к каждому шороху. Лес миновал благополучно и оказался перед глубоким оврагом. Это вселило в него уверенность, что идет он в нужном направлении, так как еще с самолета он заметил этот овраг. За ним уже невдалеке должна начинаться наша освобожденная земля. Гура пополз по-пластунски и хотел опуститься на дно оврага передохнуть, но тут услышал немецкую речь. Гура быстро, но осторожно отполз к темневшему кустарнику и здесь прилег...

— Когда я садился на поле, — продолжал Степан свой рассказ, — то думал, что до линии фронта не более четырех-пяти километров. Значит, сейчас я находился на передней линии немецкой обороны. Тут в воздух стали взлетать ракеты — красные, зеленые, белые. Они прорезывали черное небо, рассыпались яркими вспышками и освещали все вокруг. Я, прижимаясь к земле, стал отползать туда, где было темнее. Вскоре я поднялся во весь рост и пошел прямо по полю, между двумя оврагами. В одном из них стояли немецкие танки. Немцы развели костер и грелись. Вблизи стоял часовой. Он окликнул меня, но я пошел от него к другому оврагу. Впереди что-то зашевелилось. Я крепко сжал рукоятку пистолета и чуть уклонился в сторону. Шел напролом — другого выхода не было. Возможно, это меня и спасло. Ракеты теперь взлетали справа и слева. Значит, я был на линии фронта, на передовой. Овраги разошлись, и я вышел на ровное место, поросшее травой...

Неожиданно почти навстречу Гуре полетели красные вспышки выстрелов. На них ответили немецкие пулеметы, и летчик понял, что находится между двумя огнями — он на нейтральной зоне. Спасение близко, но нужно быть особенно осторожным. Гура снова лег на землю и пополз. Внезапно правая рука потеряла опору, и он покатился куда-то вниз. Степан подумал, что оказался в глубоком овраге, но, ощупав гладкие стены, сообразил, что находится в противотанковом рву. Чей он?

Выбраться никак не удавалось. Тогда, спрятав пистолет в кобуру, Гура принялся ножом вырезать в глинистой стене ступеньки и через час вылез из неожиданной западни. Хотя ночь стояла холодная, ему было жарко, по лицу и спине катился пот. Из-за леса выплывала огромная желтоватая луна, а сзади продолжали взлетать цветными фейерверками фашистские ракеты.

Степан лежал на краю рва и отдыхал. Хотелось закрыть глаза и погрузиться в забытье, но он поборол заманчивую, обволакивающую сонливость и пополз на восток. Жесткая, вспаханная разрывами снарядов и вспоротая пулями земля забивалась в нос, рот, слепила глаз, царапала руки, из-под содранных ногтей сочилась кровь.

Гура часто останавливался и бессильно застывал, приникнув щекой к холодной земле. Но тут же обжигала тревожная мысль: а что если где-то близко немцы? Тогда он вновь стремительно рывками полз вперед. Потом пришло убеждение, что немцев уже рядом нет. Степан поднялся на ноги и, пошатываясь, пошел во весь рост. Не успел сделать и нескольких шагов, как услышал суровый окрик:

— Стой! Кто идет?

«Свои! Русская речь!» Гура от радости не мог произнести ни слова. Рядом с ним выросли две человеческие фигуры с автоматами.

— Свои! Братцы! — воскликнул Степан. В его голосе были такие нотки, что один из автоматчиков уже более дружелюбно спросил:

— Кто такой?

...Я слушал Гуру, моего товарища, моего друга, а сам не сводил глаз с его седины.

Все в полку были обрадованы благополучным возвращением Степана. Но вскоре наша радость была омрачена печальным сообщением: из очередного полета не вернулся летчик Петров, который был инструктором. Как сообщили, его самолет подбили во время воздушного боя, и Петров совершил вынужденную посадку на занятой врагом территории.

Жив ли он? Не попал ли в плен? Сможет ли, как Степан, добраться до своих?

Снова в воздухе

Я получил разрешение подняться в воздух! Что может быть радостнее для летчика!

Наши шестнадцать истребителей, оставшиеся в полку, идут прикрывать штурмовиков, которые должны вылететь на станцию Мокрая, что сейчас находилась в нескольких километрах от фронта. Станция была для отступающих фашистов важнейшим железнодорожным узлом по переброске войск и техники.

Я иду в четверке с Костецким, Колдуновым и Митрофановым. С удовольствием слежу за приборами, за обстановкой и испытываю прилив хорошего, теплого чувства к друзьям. Опять я с ними, опять иду громить врага!

Боевая задача предстояла сложная — это стало ясно еще во время подготовки к полету. Я с товарищами находился в ударной группе, которую возглавлял командир нашей эскадрильи капитан Егоров. Одна пара истребителей шла выше нас, а шестерка первой эскадрильи — в группе непосредственного прикрытия. Эта «вертикальная этажерка» (эшелонированное построение) говорила о том, что мы воевали все лучше, применяли новые способы ведения боя, более прочно захватывали господство в воздухе. Приближался час расплаты. Горе тебе будет, гитлеровская банда, когда придется держать ответ за все твои злодеяния! На память пришли строчки из где-то прочитанного стихотворения:

Родина! Кровью фашистов вымой
Глаза Европы, ослепшей от слез!..

Да, мы, советские люди, бьемся не только за свободу и независимость нашей Родины, но и за свободу всего человечества...

К станции подошли на большой скорости со снижением, несмотря на густой огонь фашистской зенитной артиллерии. Он был настолько мощным, что моментами нам казалось, будто воздух состоит из сплошных разрывов.

Проскочив огневой заслон, наши штурмовики перестроились для атаки. В это время справа показались «мессершмитты». «Проспали, господа», — усмехнулся я. По строю фашистов было видно, что они только взлетели и не успели набрать достаточной высоты и занять боевого порядка.

Восемь «мессершмиттов» приближались довольно уверенно. Ну да, они над своими войсками! К тому же вот еще восемь новых

«мессеров». Плывут, словно селедки в косяке. Ну что же, давайте встретимся. И мы со всего хода врезаемся в строй вражеских машин.

Вначале наш бой шел организованно и мы наседали на фашистов, но вот на большой высоте появилась третья восьмерка «мессершмиттов» и навалилась на пару «яков», ходившую выше нас. Немцы использовали свое численное превосходство, и нам становилось все труднее. Теперь приходилось не только вести бой с ранее подошедшими фашистами, а и отбивать атаки сверху. Воздух прошивался путаницей разноцветных трасс.

Мы дрались. Кто же кого? Противник был умелый, опытный. И все же враги просчитались. Колдунов поймал в прицел фашиста, который гнался за Лысовым, и этого было достаточно. Оставляя за собой длинную струю дыма «мессершмитт» исчез внизу. Но тут задымил и самолет Лысова. Видно, его подбили основательно, потому что Лысов немедленно выпрыгнул из машины. Белый купол парашюта раскрылся, и к нему ринулись две вражеские машины, которые до этого гнались за Колдуновым. Мерзавцы! Мы никогда не расстреливали беспомощных вражеских летчиков, когда они болтались на стропах. Эти же звери, забыв о чести и достоинстве воина, отказавшись от боя, ринулись на одинокого парашютиста.

Я иду им наперерез — надо прикрыть Лысова. Ко мне присоединяется Колдунов, и мы кружим над парашютом Лысова. Фашисты куда-то исчезают.

Осматриваемся. Чуть в стороне на сближение с нами идет пара Костецкого. А где же станция? Вот она, справа от нас, — в горячке боя мы значительно отклонились от цели. Она вся окутана дымом и пылью, сквозь которые пробиваются желтые языки пламени.

Наши штурмовики, «обработав» станцию, выходят из боя. Они идут змейкой на восток, а над ними — четверка истребителей. Все! Только вот Лысов в опасности, но мы его не дадим в обиду.

Западный ветер пришел на помощь, и Лысов опустился в расположении наших войск. Возвращаемся на аэродром и узнаем о судьбе Лысова. Он обгорел в подбитом самолете и опустился на землю в тяжелом состоянии. Здесь его немедленно подобрали и отправили в госпиталь. Лечение прошло успешно, и он скоро вернулся в часть, где и сражался с нами до самого светлого дня — Дня Победы!

Во время этого боя были сбиты также командиры первой и третьей эскадрилий и летчик Макаров, которые, жертвуя собой, как более опытные, прикрывали и спасали молодых летчиков. Всех троих доставили в госпиталь. Но никто не выжил, все

скончались от многочисленных ран и большой потери крови.

Такого горя у нас еще не было. Мы не смотрели друг другу в глаза: боль и одновременно стыд за то, что не сберегли командиров, владели нами.

По приказу собрались около КП. Поднялся командир дивизии. Он долго молча смотрел на нас, глаза его гневно горели. Как медленно и тягостно тянулось это молчание!

Наконец комдив заговорил. Он говорил о долге солдата — защищать командира ценой своей жизни, вспоминал капитана Белоусова... Мы стояли, опустив головы. Каждый из нас считал себя, именно себя виновником гибели командиров.

В тишине суровый голос комдива хлестал нас, как кнутом. А тут еще новая беда: нашего товарища, летчика Костецкого, обвиняют в том, что он бросил в бою командира своей эскадрильи. Костецкого отдают под суд трибунала! Мы были ошеломлены. Мы же видели, как вел себя в бою Юра, видели, что он был связан «мессерами». Костецкий приговорен к отправке на три месяца в штрафную роту! Это словно приговор всем нам, потому что Костецкий был виноват в такой же степени, как и любой из нас...

...Все тяжело переживали Юрино несчастье. Постоянно вспоминали о нем, гадали о его судьбе. Но не прошло трех месяцев — и вот Юра снова с нами. Он немного похудел, а на лице радостная улыбка. Его солдатскую гимнастерку украшают орден Красного Знамени и медаль «За боевые заслуги».

Юра не может вырваться из наших объятий. Мы безмерно рады, что он жив, что отличился в тяжелых боях, освобожден досрочно и вновь пойдет с нами в воздух! Костецкий снова стал летать и был по-прежнему хорошим, смелым истребителем.

Я хожу мрачнее тучи, стал раздражителен, вспыльчив, чего раньше со мной не было. Теперь Валя делает мне замечания, чтобы я держал себя в руках. О Саше по-прежнему нет вестей.

Как-то, вернувшись с полетов, я сорвал с плеч куртку, отшвырнул ее в сторону, сел на кровать. Летчики молчали. Кто лежал и смотрел в потолок, кто сидел, опустив голову на руки. Все находились под впечатлением недавней гибели командиров.

От нас в другой полк переведены Колдунов, Панов, Ремизов и еще несколько летчиков. Таяла наша боевая дружная семья.

— Ну чего вы головы повесили? — раздался вдруг неожиданный окрик, от которого мы даже вздрогнули. Это кричал Дима Митрофанов. Он стоял посреди комнаты. — Что, от этого легче станет? Командира ведь не вернешь.

— Не вернешь, — заговорил Паша Конгресско и тоже вскочил на ноги. — Я виноват так же, как Костецкий, а может быть и

больше! Да, больше! И меня надо было отдать под суд! Я тоже бросил командира в бою! А Юра был со звеном...

— Спокойно, спокойно! — Митрофанов подошел к Паше и положил ему руку на плечо. — Ну чего психуешь?.. Не знаю, чем кончился бы столь невеселый разговор, но в этот момент в дверь раздался стук и к нам вошла — нет, не вошла, а влетела Валя и бросилась ко мне. С ее губ срывались отрывистые слова:

— Саша... Саша... нашелся... в госпитале... Бойцы видели...

Летчики окружили Валю, а она продолжала что-то говорить, то плача, то смеясь, не успевая отвечать на расспросы. Я закричал ей:

— Какие бойцы? Где они?

Валя молча показала на дверь, и я, схватив девушку за руку, выбежал с ней из домика. Саша жив! В госпитале! Скорее к нему!

Около землянки на бревне сидели и покуривали три солдата. Их о чем-то расспрашивали наши оружейницы — подруги Вали. Я подбежал и, задыхаясь, спросил:

— Вы видели младшего лейтенанта Некрасова?

— В полевом госпитале, где мы тоже латались, — ответил старший по возрасту солдат. — Его привезли дней двадцать назад. Мы узнали, что это один из братьев Некрасовых, о которых недавно писали в газете.

— Как он? Что с ним? — засыпал я бойцов вопросами.

Солдаты объяснили, что Сашу сразу доставили в операционную, а затем в хирургическое отделение, они же в это время выписались из госпиталя. Зашли они в наше село в свободное время, чтобы проведать родных своего однополчанина.

— Вот его, — кивнул отвечавший на солдата, что сидел рядом с ним и с грустным выражением лица, нахмурив брови, смотрел в сторону. Только мы его родных не застали. Немцы, когда здесь были, расстреляли их, а дом сожгли... Ну ничего, мы с фашистами посчитаемся!..

Я попросил солдат дойти до КП, возможно с ними захочет поговорить «батя». Мы с Валей шли так быстро, что солдаты едва за нами поспевали. Я стремительно влетел к Армашову, и он удивленно спросил:

— Что с тобой?

— Сашка нашелся! — воскликнул я.

Армашов сам расспросил солдат, записал кое-что. Пожилой боец добавил с несколько виноватым видом:

— Мы думали, что о младшем Некрасове известно в его части, а то бы сразу сюда пришли. Ведь как получилось. Сидим вот тут на бревне, курим и слышим — девчата о Некрасове говорят. Ну, мы и поинтересовались: о каком?

«Батя» поблагодарил солдат и отпустил их, потом повернулся к нам с улыбкой:

— Ну, вот и жив ваш Саша. Идите ужинайте и ко мне быстрее. Я пока созвонюсь со штабом армии.

Мы с Валей скоро снова были на КП. Армашов уже уточнил, где Саша, и вызвал санитарную машину с врачом. Ему командир полка приказал:

— Если состояние младшего лейтенанта Некрасова позволяет, то забирайте его к нам в лазарет. Среди друзей он скорее поправится.

Усаживаемся в машину, и она трогается. Фронтовые дороги были такие, что и метра ровного не найдешь — все в ухабах. Мы даже шутили, что на них очень легко, быстро и удобно делать из автомашин утильсырье. Нас бросало из стороны в сторону, подкидывало, трясло, но мы не обращали на это внимания. Говорили мы с Валей мало. Каждый из нас по-своему переживал предстоящую встречу. «Будет ли он еще летать, тяжелы ли раны? — думал я. — Как об этом написать отцу, матери?» Валя же, как она потом призналась, думала лишь об одном: только был бы жив. Она все терзалась опасением, что, пока мы доберемся до госпиталя, Саше станет хуже.

Дорога нам показалась необыкновенно длинной, и иногда даже мелькала мысль: а не заблудились ли мы? Наконец машина остановилась, и мы вышли. Вокруг — лес, а перед нами ворота. Нам навстречу вышел часовой, и начались такие продолжительные, нудные переговоры, что я стал терять терпение. В довершение начальник караула сказал нам, что надо ждать утра. С большим трудом мне удалось дозвониться до дежурного врача и уговорить его принять нас. До сих пор я не бывал в госпиталях и больницах, и сейчас мне казалось, что все тут делалось удивительно медленно, неторопливо.

Военврач выслушал меня и с неохотой дал разрешение на встречу с Сашей в столь неурочное время, но на просьбу позволить увезти его ответил:

— Надо обратиться к главвоенврачу. Я с ним поговорю.

И вот мы идем в сопровождении санитара в хирургическое отделение. У двери нас встретила сестра, шепнула, чтобы мы соблюдали тишину, и ввела в палату. Здесь было довольно светло от смотрящей в окно полной луны. Стояло всего три койки, на них неподвижно лежали раненые. Сестра молча указала на кровать у окна. Саша лежал на спине и ровно дышал. Мы подходили к нему тихо, осторожно, боясь разбудить его и других больных.

Свет луны падал на лицо брата, и оно показалось мне

мертвенно-бледным. Валя неожиданно вскрикнула и бросилась к Саше. И тут же я услышал его голос:

— Вовка! Валя! Это вы?

Он рывком сел на койке. Я подбежал к нему. Так хочется обнять брата, прижать к своей груди, но вид его удерживает и меня и Валю. Саша весь забинтован, и, возможно, любое прикосновение доставит ему боль.

Сестра опустила штору светомаскировки, зажгла керосиновую лампу и поставила ее около Сашиной кровати. Мы увидели, что левая рука у него прибинтована к телу и торчит как-то неестественно. Валя и я опустились около койки на колени и жадно смотрели в сильно похудевшее лицо Саши. Валя, не выдержав, уткнулась лицом в жесткое одеяло и заплакала. А Саша, несколько растерянный нашим неожиданным появлением, твердил:

— Ничего, все будет хорошо, ничего...

Он то гладил Валю по голове, то пытался улыбнуться мне. Я спросил с замирающим сердцем, с тревогой, со страхом:

— Что с рукой?

— Открытый перелом, — Саша хотел ответить как можно спокойнее, но это ему не удавалось. — Но уже все в порядке. Все исправлено, и наложен гипс. Потом немного голова болела, теперь прошла. Ну, а как в полку?

Так, перебивая друг друга вопросами, мы вели сбивчивый разговор. Проснулись остальные больные и молча смотрели на нас, понимая наше состояние. Обо мне и Вале они уже знали из рассказов Саши.

Валя осторожно прикоснулась к гипсовой повязке на Сашиной руке и заботливо спросила:

— Больно?

— Нет, теперь не больно. Вот только бы правильно срослась, — в глазах Саши была тревога.

Я понимал его: если рука срастется плохо, то он больше не вернется в авиацию.

Наконец наша беседа стала более спокойной. В ней приняли участие соседи по палате. Валя задала вопрос, который все вертелся у меня на языке:

— Как тебя сбили, Саша?

На лице брата промелькнула гримаса. Видно, вопрос был ему неприятен, и я торопливо сказал:

— Об этом потом. Мы, Саша, приехали за тобой, «батя» послал нас. Лишь бы у тебя все было в порядке и ты бы выдержал дорогу.

— Все в порядке! Выдержу! — засуетился Саша.

Он был счастлив, что может вернуться в свою часть, и встал с койки. Валя осторожно помогла Саше спрятать руку под гимнастерку, я натянул ему сапоги. Простившись с товарищами по палате, пожелавшими ему счастливо летать в будущем, Саша вышел с нами.

Сестра, увидев нас в коридоре с Сашей, страшно возмутилась:

— Куда вы ночью уводите больного?

Она и слушать не хотела никаких объяснений. Но тут явился врач, и мы, получив разрешение, покинули госпиталь.

На улице было прохладно. Луна заливала мягким светом глухой, молчаливый лес. Саша глубоко вдохнул свежий воздух и взволнованно проговорил, смотря в ночное небо:

— Как хорошо...

Поддерживая его под руку, мы помогли Саше подняться в машину и с большим трудом уговорили лечь на подвешенные носилки. Это смягчало толчки на неровностях дороги. Шофер вел машину очень осторожно.

— Ну, а вот теперь расскажи все, что с тобой произошло. Как это тебя сбили, что никто не заметил? — спросил я.

Врач, которая все время молчала, нерешительно сказала:

— Может быть, об этом потом?

Саша вздохнул:

— Чего уж скрывать! — Он немного помолчал, потом быстро заговорил: — Когда мы увидели бой, увидели, как наши прижали «лапотников», я разинул рот. Ну, тут пара «фоккеров» и дала мне жару. Я едва успел резким скольжением выйти из-под их огня, крикнул по радио Ремизову, но моя радиостанция, как и часть приборов, оказалась разбитой. Я был метров на шестьсот ниже Алексея. Из перебитой трубки манометра начал хлестать бензин. Меня буквально заливало горючим, даже в сапоги налилось. Мотор стал давать резкие перебои, самолет шел на снижение. Ремизова я потерял из виду. Положение мое становилось все отчаяннее, и я решил выброситься на парашюте. Чувствовал, что вот-вот потеряю сознание от паров бензина. Едва отстегнул ремни, как увидел село, что расположено недалеко от нашего аэродрома. До него оставалось километров пятнадцать, и я решил дотянуть. Однако отравление парами бензина было таким сильным, что уже начало мутиться сознание. А прыгать было нельзя из-за маленькой высоты — до земли оставалось всего двести метров. Ну я и пошел на посадку. Последнее, что помню, так это что я взялся за подкос[4] прицела, надеясь, если скапотирую, избежать удара лицом о прицел. И все...

Саша замолчал. Мы тоже молчали, ожидая продолжения рассказа. Машина осторожно двигалась по разбитой дороге.

Передохнув, Саша продолжал:

— В сознание я пришел в госпитале, на операционном столе. Рука была в гипсе. Голова словно разваливалась от страшной боли. Только в палате я узнал, как произвел посадку. Потом скоро уснул и открыл глаза лишь через сутки. В окно светило яркое солнце, я повернулся к нему, и резкая боль в руке напомнила мне обо всем. Так началась моя госпитальная жизнь. Позднее, в этот же день, врач рассказал, что я обязан своей жизнью сельским мальчикам. Ребята видели, как самолет очень низко пролетел над землей, потом задел правым крылом и встал на нос, весь окутанный пылью. Когда дети подбежала ближе, машина уже лежала на спине, одно колесо шасси быстро крутилось, другого не было. В самолете они тоже никого не обнаружили. Ребята обошли машину и увидели распластавшегося на земле летчика. Испугавшись, что он мертв, мальчуганы убежали в село, где стояла воинская часть. Оттуда пришла санитарная машина и увезла меня в госпиталь... Несколько раз спрашивал врача о руке. Он уверял, что кость правильно срастется и я снова смогу летать. — И тут же Саша спросил: — А мой самолет вывезли?

— Вот вернешься и расскажешь, где его искать, — сказал я.

— Так вы ничего обо мне все эти дни не знали? — удивился Саша.

Мы только пожали плечами.

Валя не выпускала из своих рук руку Саши. Она была счастлива, что он жив, что они рядом. Я рассказал Саше о новостях в полку. Он слушал и расспрашивал с такой жадностью, с такими подробностями, словно не был у нас несколько лет. Случай с Костецким произвел на него тяжелое впечатление.

— В нехорошее время я возвращаюсь. И каким? Калекой. Сейчас бы только летать.

— Будешь летать! — успокаивал я его.

— Ты думаешь? — быстро спросил он и тут же разочарованно добавил: — откуда тебе знать, Вовка? Ты же не врач.

— Вот посмотришь, что будешь летать, — сказал я с уверенностью и обратился за поддержкой к врачу. — Верно, товарищ военврач?

Она пробормотала в ответ что-то невнятное. Но тут машина остановилась и, фыркнув мотором в последний раз, затихла. Мы были в родном полку!

Бои, успехи, потери…

Запорожье освобождено! Немецкие войска сопротивляются, цепляясь за малейший удобный рубеж, но продолжают откатываться все дальше на запад! Час окончательной расплаты приближается!

Наша эскадрилья получает приказ перегнать самолеты на станцию Мокрая, бой над которой принес нам столько бед, сдать там машины в другую часть, а самим отправляться в тыл на переформирование. Это извещение принимаем с явным неудовольствием: в тот момент, когда так успешно идет наступление, нас отправляют с фронта. Но делать нечего — приказ надо выполнять. К тому же мы действительно нуждались в основательном пополнении.

И вот четверка «яков» покидает аэродром. Это все, что осталось от полка. Курс на Запорожье. Ведет четверку лейтенант Лобастов. Я лечу в паре с ним. Во второй паре — Митрофанов и Конгресско.

Перелет прошел спокойно. Мы приземлились на новом аэродроме, только что покинутом немцами, и собрались в капонире у Лобастова, чтобы выкурить по папиросе. Кто-то из нас чиркнул спичкой. Звук этот потонул в визге и разрывах мин. Немцы находились километрах в трех от аэродрома и, обозленные его потерей, сейчас обстреливали нас из минометов. На посадочной полосе взлетали бесчисленные фонтаны земли.

— Лучше поздно, чем никогда, — шутил Лобастов. — Прозевали нас. Пусть расходуют боеприпасы.

Одна из мин разорвалась рядом с капониром, в котором были мы. Со свистом пронеслись осколки, потом нас обдало разрыхленной землей. Резкие удары чередовались с ослепительными вспышками. Над аэродромом тучей висела пыль. Мы тесно прижимались к стенкам капонира. Едва прекратился минометный огонь, как завыли моторами «фоккеры».

— Эти-то уж с солидными гостинцами! — прокричал Паша.

С противным завыванием, которое усиливалось с каждой минутой, к земле устремились бомбы. Ощущение было такое, будто падают они прямо на голову. Раздался взрыв такой сильный, что мы ухватились друг за друга, кто-то упал на колени. Лобастов крикнул:

— Ложись!

От близких взрывов в ушах звенело до боли. А бомбежка усиливалась. Фашисты добросовестно вспахивали посадочную полосу. Фугаски, казалось, раскалывали, рвали на части весь

земной шар. Примешивались и другие взрывы, слабее.

— «Лягушек» посыпали! — закричал Лобастов. — Ну, друзья, смотрите в оба.

Мы знали, о чем он предупреждал. Фашисты сбрасывали кассеты, начиненные маленькими бомбочками-«лягушками». Многие из них не взрывались, а рассыпались по земле. Стоило к какой-нибудь прикоснуться, как «лягушка» подскакивала на небольшую высоту и рвалась. Эти бомбочки-мины были предназначены специально для уничтожения живой силы.

Приближалась ночь, и наше положение усложнялось: в сумерках не заметишь, как наступишь на «лягушку».

«Фоккеры», отбомбившись, улетели, не причинив серьезного ущерба. Наши самолеты уцелели. Стало тихо. А мы сидели в своем капонире и постепенно приходили в себя. На другой посадочной площадке нас ждали два «По-2», чтобы доставить на старый аэродром. Но как до них добраться?

— Вот это попались! — возмущался Конгресско. — Неужели до утра сидеть? По «лягушкам» ведь не пойдешь!

И все же мы решили рискнуть — идти через летное поле по одному. Первым отправился Лобастов. Шел он медленно, пристально смотря себе под ноги. За ним на расстоянии пятидесяти метров двигался я, за мной на таком же расстоянии — третий, дальше четвертый. Шли, затаив дыхание. Сердце у меня билось так громко, что, казалось, могли услышать товарищи. На лбу выступила испарина, коленки мелко дрожали. Нет, это была не трусость, а то самое противное чувство неизвестности, которое всегда так выматывает нервы.

«Лягушки» лежали спокойно, точно подстерегая. Наконец опасная зона позади. И сразу же с моих плеч словно свалился непосильный груз. Стало легко, свободно. Я обернулся и, махнув рукой Конгресско и Митрофанову, которые шли за мной, крикнул:

— Спокойнее, увереннее, друзья!

— Не пугай «лягушек», а то заквакают, — шуткой ответил Митрофанов.

Они с Конгресско благополучно миновали «фрицево болото», как назвал Митрофанов засыпанное минами летное поле, и мы забрались в «По-2», став пассажирами этих медленных «грузовиков»...

Звено летчиков-истребителей. В первом ряду: слева — командир звена Д. Митрофанов, справа — В. Некрасов. Во втором ряду: слева — В. Бродинский, справа — А. Некрасов.

Через несколько дней мы были в Москве. Прибыли в столицу вечером седьмого ноября. Суров военный облик города, украшение скромное. Но чувства наши светлые, радостные. С фронтов с каждым днем приходили все новые и новые победные вести. Враг отступал...

Через два дня мы получили самолеты — новые типы истребителей. Тыл заботился о том, чтобы у нас было совершенное оружие.

Начинаем перелет по маршруту Москва — Тула. В Туле из-за непогоды пришлось просидеть восемнадцать суток. Единственным нашим занятием в эти тоскливые дни было создание «эпистолярного наследства» — каждый из нас отправил столько писем родным и знакомым, сколько, наверное, не напишет за всю свою дальнейшую жизнь.

Из Тулы взяли курс на Воронеж. Таких страшных разрушений мне еще не приходилось встречать. Город казался мертвым: развалины домов; улицы, заваленные обломками; с покосившихся столбов свисают обрывки проводов... Но, сделав три круга на небольшой высоте, я убедился, что Воронеж живет. В него вернулись люди и уже трудились над залечиванием тяжелых ран, нанесенных врагом. Я видел детей, игравших на улицах, женщин, варивших что-то на печках, вокруг которых не было стен...

Наконец мы на месте назначения — у города Харькова. Полк получил пополнение. В нашу эскадрилью прибыли Вано Исмахамбетов, Дмитрий Хохряков, Миша Юсим. Снова пришел к нам Витя Бродинский. Но мы потеряли Петю Пронина, который очень опасно заболел и был положен в харьковский госпиталь.

К этому времени у брата сняли гипс с руки. Он тяжело переживал вынужденное безделье и с нетерпением ждал возвращения в строй. Кости у него срослись крепко, но с небольшой кривизной. На наш взгляд, это было почти незаметно, но рука стала тонкой, как палка, словно на ней никогда не было мышц, и невероятно слабой. Я и командир полка уговаривали Сашу съездить домой отдохнуть, набраться сил. Но все наши старания были напрасны. Саша твердо заявил:

— Я буду воевать, а не отдыхать. Прошу о моей руке больше не говорить!

И Саша делал все, чтобы быстрее вернуть руке силу, выносливость. Он непрерывно выполнял гимнастические упражнения выжимал тяжести — сначала небольшие, а затем все увеличивал их вес.

У летного состава наступили трудные дни учебы. Фронтовой опыт показал, в чем мы еще слабы. Сейчас мы обратили особое внимание на слетанность пар, — при хорошем взаимодействии они могут успешно сражаться и наносить большой урон численно превосходящему противнику. Затем шла отработка взаимовыручки и эффективного использования оружия при минимальном расходовании боевого комплекта.

Сначала мы были несколько обижены, что нас, боевых

летчиков, вновь превратили в курсантов, но через день-два об этом уже не было и речи: учеба оказалась труд, нее фронтовой жизни. Ограничений ни в скорости, ни в высоте не было. Воздушные «бои» вели с обязательным поиском «противника». День ото дня задания становились все сложнее, труднее. Мы с ними справлялись, и в этом была немалая заслуга нашего нового комдива.

Дело в том, что наш полк вошел в дивизию, которой командовал полковник Петров, бывший школьный работник. Он так умело поставил учебную работу в дивизии, что мы вскоре стали образцовой летной школой. Заместитель комдива — подполковник Гращенко — бывалый боевой летчик. Это удачное сочетание дало отличные результаты. Без внимания этих офицеров у нас не оставался ни один летчик. Каждый проходил у них учебу, проверку и при их помощи всегда успешно выдерживал испытания.

У меня и брата все шло хорошо до тех пор, пока мы не перешли на отработку полетов в паре. Первый вылет вдвоем. После взлета я убрал шасси и оглянулся на своего ведомого. Саша еще шел с выпущенными «лапами» (так мы называли шасси). Я приказываю по радио:

— Убери «ноги»!

Саша не сразу выполнил мой приказ. Его самолет сначала почему-то «клевал», то уходил вверх, а шасси все еще не было убрано. Я начал плавный разворот, думая, что у него заело шасси, но Саша, следуя за мной, убрал «ноги» и доложил:

— Все в порядке!

Выполнив свое учебное задание, мы вернулись на аэродром. После посадки я прежде всего спросил Сашу:

— Что у тебя с шасси случилось?

Саша вспыхнул, оглянулся и, чтобы никто не слышал, тихо сказал:

— Силы в руке мало. Не хватило на уборку шасси.

— Так как же ты ухитрился все же убрать «ноги»?

Саша торопливо рассказал, что он ручку управления (а это было небезопасно) зажимал между колен, правой рукой держал рычаг газа в среднем положении и тогда лишь левой рукой, действуя, как рычагом, убирал шасси. Это было сложно и трудно.

— Может быть, тебе... — начал я.

Но Саша понял, о чем я хочу сказать, и быстро перебил меня:

— Молчи! С фронта все равно не уеду, буду летать! А рука скоро станет прежней!

И он еще усиленнее стал тренироваться с гирей, мячом, амортизаторами. Я с болью смотрел на брата, но не мешал —

знал, что так надо, и был уверен, что он достигнет своего.

В эти дни мы получили письмо от отца. Он сообщал, что был в тяжелом бою ранен и сейчас находится на излечении в иркутском госпитале. Итак, один член нашей семьи вышел из боевого строя. Правда, он дрался хорошо — награжден медалью «За боевые заслуги», но все же какое-то время не будет держать в руках оружия, не будет уничтожать врага.

Мы написали письмо отцу и матери, успокоили их, скрыв, что произошло с Сашей. Говорили о близкой победе над врагом...

Ничего, отец, мы будем сражаться и за тебя, мы берем твою воинскую долю на себя! Так мы написали отцу и дали друг другу клятву бить врага еще упорнее, никогда не отступая. Драться до последнего дыхания, до последней капли крови!..

Вскоре нас познакомили с проектом нового устава истребительной авиации. В нем было много новшеств. В частности, вводились большие интервалы и дистанции в построении пар, звеньев — они должны идти со значительным превышением друг над другом. Все это вызывало горячие дискуссии. Спорили летчики, уже не раз побывавшие в боях, молодые молчали, слушали. Не вмешивались в эти обсуждения и мы с братом, не считая себя еще достаточно опытными истребителями.

Хорошо отдохнув, получив новые знания, все с нетерпением ждали возвращения на фронт. У нас установилась регулярная переписка с Хабаровском, и мы были хорошо осведомлены, как работают наши товарищи в цехах завода «Энергомаш», как несут трудовую вахту по двенадцать-четырнадцать часов в сутки...

В марте 1944 года мы прилетели на аэродром, который находился близ города Сарны. Железнодорожная станция и город были важным транспортным узлом для нашего фронта, и фашисты ежедневно совершали на них бомбовые налеты.

На аэродроме — ни одной постройки, и личный состав разместился в километре от него. Линия фронта проходила в шестидесяти километрах. Так как других посадочных площадок не было, мы мирились со всеми неудобствами, даже с невероятной теснотой на аэродроме. Кроме нас, тут базировались эскадрилья ночных истребителей и штурмовики. День и ночь гудели моторы, взлетали ракеты, поднимались и приземлялись самолеты. В эти дни шли упорные бои за город Ковель, уже не раз переходивший из рук в руки.

Мы ходили на прикрытие штурмовиков, которые поражали наземные цели. И почти каждый раз на нас набрасывались «головастики» — так называли из-за большой моторной части с воздушным охлаждением немецкие самолеты «Фокке-Вульф-190»

(«фоккеры»). Немцы отчаянно сражались за Ковель, который полукольцом охватили наши войска. Советская артиллерия держала под обстрелом железнодорожную и шоссейную дороги, ведущие в город с запада. Фашистам приходилось снабжать свои войска по воздуху. На транспортных самолетах «Ю-52» они подвозили боеприпасы, питание, живую силу.

Погода стояла пасмурная, что часто мешало нашей работе. В один из таких дней, когда над землей висела низкая густая облачность, мы — четверка истребителей — кружили над Ковелем. Перед нами была поставлена задача не подпустить к городу «юнкерсы», которые, по сообщению разведки, должны были подбросить осажденным парашютный десант и боеприпасы.

Делая очередной круг над городом, мы сквозь облачность заметили четверку «фоккеров», идущих ниже. С ходу пошли в атаку, но тут же нас атаковала другая четверка фашистов, появившихся сзади. Начался бой. Вот я поймал в прицел «фоккера» и нажал на гашетки. Фашистский самолет задымил, из него вырвались острые языки пламени.

Это вам за отца!

Митрофанов послал длинную очередь из пушки и пулеметов в один из вражеских самолетов. Тот резко пошел вниз, но без дыма и огня.

— Добить подранка! — крикнул я Саше. Мы падаем вслед за фашистом. За ним гонится и Бродинский. Почти одновременно от наших машин протянулись цветные трассы к «фоккеру». Он клюнул носом, вошел в крутой штопор и врезался в землю, окутавшись облаком дыма и пыли, в средине которого блеснули языки пламени. Но мы уже не обращали на него внимания. Надо быть начеку. Фашисты попытаются отомстить за свои потери.

Мы не ошиблись. Из облаков вырвались «фоккеры». Мы решили завязать бой, но фашисты не приняли его, отвернули и снова скрылись в облаках. Шесть машин против четырех — и не решились драться! Вот вам и хваленые фашистские асы, «герои» Герники и Ковентри!

— Ребята, смотрите в оба! Фрицы что-то готовят! — предупредил нас Митрофанов.

Однако на этот раз гитлеровцы оказались туговаты на выдумку. Они однообразно несколько раз бросались в атаку, пытаясь застать нас врасплох, но, видя нашу готовность к бою, вновь и вновь прятались в облаках.

— Хватит в прятки играть! — сказал Митрофанов. — Идем сами искать фрицев!

Мы парами вышли из облаков с западной окраины Ковеля и увидели, как из «Юнкерса-52» на парашютах сбрасывают какой-то

груз. Парашютные купола открывались сразу же после отделения от самолета и расцветали, как ромашки в поле. Некоторые уже были у земли.

Я ринулся на транспортник. Скорость у меня огромная. Я весь как бы сросся с самолетом. Взгляд прикован к прицелу. Вот вражеский самолет пойман в перекрестие. Сейчас я его прошью. Нажал на кнопки спуска, но не почувствовал обычной ответной дрожи. Пушка, пулеметы молчали. «Отказали», — подумал я и закричал:

— Саша! Бей!

Мне ничего не оставалось делать, как повторить заход и тем временем перезарядить пулеметы и пушку. По радио сообщаю Митрофанову о фашистах. Немецкий летчик завидев нас, лезет в облака, перестав сбрасывать груз. Я опять близко около «Ю-52» и снова нажимаю на кнопки. Оружие молчит. Что за черт! Пытаюсь выстрелить при помощи механического спуска ногой — и опять тот же результат. Саша идет за мной и тоже не открывает огня. Вот так номер — у обоих отказало оружие!

«Юнкерс» так близко, что я вижу летчика. Проходя мимо и чуть выше «юнкерса», я покачал крыльями. Гитлеровец с испугом повернул ко мне лицо и я, кипя злобой, погрозил ему кулаком. В это время я находился над территорией, занятой немцами. Мы разошлись...

Приземлившись, я и Саша, позвав механика, сразу же вскрыли капоты и стали выяснять, почему отказало оружие. В обоих случаях оказались задержки: дефекты в механизмах. Это спасло фашистский самолет с грузом. Ну, а если бы на нас навалились вражеские истребители? Как бы и чем мы отбивались? Или пришлось бы позорно бежать? Мы не отходили от своих самолетов, пока неисправности не были удалены.

На другой день наша четверка снова поднялась в воздух. Вскоре мы встретились с четырьмя «фоккерами», которыми управляли, очевидно, опытные летчики. Они сразу же завязали бой. Он был скоротечным, но очень напряженным. Я, увлекшись погоней за одним фрицем, чуть сам не стал жертвой: ко мне пристроился немец и уже готов был открыть огонь, но это заметил Саша и, сбив гитлеровца, спас меня.

Обозленный своим промахом, я насел на очередного «фоккера». Пылая, как смоляной факел, он рухнул на землю. Пусть земля советская не будет тебе пухом!

На аэродром мы возвращались на изрядно потрепанных машинах, с последними каплями горючего в баках.

— Все хорошо, что хорошо кончается, — сказал нам командир полка.

Самолеты машинами оттаскиваются от стоянки. Я осматриваю свой «як». У него разбито хвостовое оперение и перебита верхняя часть фюзеляжа. У Сашиного самолета тоже есть повреждения — две пробоины в руле поворота.

Но это мелочь по сравнению с тем, что из полета не вернулись Дима Митрофанов и Витя Бродинский. «Не вернулся из полета»! Как часто нам приходилось слышать эти слова, за сухой лаконичностью которых скрывалась судьба наших товарищей! Война, война! Сколько жизней отобрала она!.. Как всегда, надеемся на благополучное возвращение друзей, а утром — новая горестная весть: вылетавший на разведку Лобастов тоже не вернулся.

В эскадрилье нарастала тревога. Молодые, необстрелянные лётчики совсем приуныли. А тут еще каждую ночь яростные бомбежки немцев. Нет ни сна, ни покоя. Не надеясь на точность бомбометания, гитлеровцы перешли, так сказать, к психическим атакам: появлялся один самолет и, отбомбившись, уходил; за ним прилетал второй, потом третий, и так всю ночь до рассвета. Мы размещались на четвертом этаже дома, что стоял около церкви. А она была прекрасным ориентиром для немцев.

Первые дни, когда начинали бить зенитки, мы сбегали в подвал и на рассвете прямо оттуда уезжали на аэродром. Невыспавшиеся, мы были плохими истребителями. Летали вяло, были менее внимательны. Дошло до того, что начали спать в кабинах, на плоскостях, а это, помимо всего, при сырой и холодной мартовской погоде повлекло за собой заболевания...

...Неожиданная радость! Вернулся пешком, с парашютом на плечах, Лобастов, а следом за ним на своем самолете приземлился Витя Бродинский. Наши товарищи, о которых мы так беспокоились, снова с нами. Мы передавали их из объятий в объятия, расспрашивали, что с ними приключилось.

Витя Бродинский рассказал нам, что во время боя был подбит самолет Митрофанова и Дима спрыгнул на парашюте. Что с ним — Бродинский не знал. Сам он тоже был вынужден сесть на другом аэродроме из-за повреждения мотора.

Возвращение товарищей приподняло наше настроение. Однако проклятые зенитки по-прежнему изводили нас. Кажется, на пятнадцатые сутки я с группой товарищей ушел не в подвал, а на холм, что был метрах в пятистах от нашего дома. Едва мы тут устроились, как появился вражеский самолет и сбросил на парашюте осветительную ракету. Ее ослепительный свет в дополнение к полной луне хорошо помогал фашисту. Наши мелкокалиберные зенитки захлебывались в залпах, но сбить ракету было трудно. Тем временем гитлеровец сбросил первую

бомбу. Она с нарастающим воем и свистом приближалась к земле.

Вдруг вой оборвался, взметнулось огромное пламя взрыва, а земля под нами задрожала...

Перед рассветом одна бомба попала в речку, что была за холмом, на котором мы лежали. Взрывной волной нас притиснуло к земле. Было такое впечатление, будто накрыли мешком и ударили по голове огромной подушкой, в ушах звенело. Мы протирали глаза, отряхивались от засыпавшей нас земли и вдруг заметили в небе красное пламя. Это горел подбитый немецкий бомбардировщик. Он повернул к линии фронта. Неужели уйдет? Зенитная артиллерия сосредоточила на нем огонь. Пламя на самолете разгоралось все сильнее. И вот мы увидели в сереющем небе, как от самолета отделилось несколько точек и затем раскрылись парашюты, а самолет перевернулся и с огромным красным султаном огня пошел к земле. Через несколько секунд до нас донесся гул далекого взрыва.

— Ура! — закричали мы во всю мочь. Но мне показалось, что кричу только я один и притом очень тихо, а другие просто открывают рты. То же самое думали и товарищи, которые смотрели на меня. И тут только мы догадались, что оглушены взрывом. К счастью, это была легкая контузия, она скоро прошла. После мы долго шутили друг над другом, вспоминая, как «беззвучно» открывали рты...

Через несколько дней мы с Сашей стали именинниками в дивизии. В свежем номере фронтовой газеты появилась статья, которая называлась: «Воевать так, как воюют братья Некрасовы». Когда я начал читать ее, лицо мое залила краска. Конечно, было приятно, что нас хвалили и ставили в пример другим, но мне казалось, что автор был слишком щедр на громкие, напыщенные слова и преувеличивал наши заслуги. Мы с братом были всегда одного мнения о себе: воюем, как все рядовые летчики, и только. Все же мы не удержались и, вырезав статью, которая занимала почти полосу газеты, послали ее матери. Как потом я узнал, эта статья доставила маме огромную радость и долго ходила по рукам жителей села Вятское, где тогда жила мать. В селе не было человека, который не прочел бы вырезку и не сказал матери несколько приятных слов о ее детях.

Естественно, что после этого мы как-то очутились в центре внимания и товарищей и командования, а это накладывало на нас большую ответственность. И мы боевыми делами старались оправдать похвалу, которую рассматривали как своеобразный аванс.

К наиболее интересным заданиям, выполненным в те дни, я

отношу фотографирование станции Мацеюв, что находилась западнее Ковеля. Станция была важным перевалочным пунктом немцев — через нее они снабжали фронт боевой техникой и пополнением для своих быстро тающих рядов.

Погода, помню, стояла крайне неблагоприятная для нас: небо чистое, солнце яркое. И «батя» перед вылетом сказал нам:

— Ну, сынки, трудно вам нынче придется. На виду у фрицев будете все время. А лететь надо. Срочно нужна фотография станции с эшелонами, что стоят сейчас там.

Армашов говорил с улыбкой, стараясь придать нам большую уверенность, но я чувствовал, что он очень беспокоится за нас. С секунду помолчав, «батя» добавил:

— Вы же герои теперь на весь фронт. В воздух, орлы!

Мы набираем большую высоту и пытаемся зайти с запада, чтобы немецкие зенитчики приняли нас за своих. Но фрицы разгадали нашу хитрость. Заградительный огонь сразу же принял огромную силу. Я не успел закончить съемку станции и был вынужден уйти, чтобы не быть сбитым. Неудача огорчала нас. Неужели возвращаться, не выполнив приказа? И это после такой похвалы? Нет, задание будет выполнено.

Мы делаем одну попытку за другой, но к станции приблизиться не можем — нас встречает яростный огонь шестнадцати батарей зениток разного калибра. Надо искать какой-то другой выход. И тут я слышу голос Саши:

— Смотри на восток.

Оглядываюсь и вижу, что на запад плывет огромное, единственное на весь голубой небесный океан белое облако. Движется оно довольно быстро и по всему видно, что пройдет над станцией. Сама природа идет нам на помощь — я решаю использовать облако для маскировки. Мы имитируем уход на восток и незаметно для немцев прячемся в верхний край облака. Теперь мы надежно укрыты. Облако под нами сверкает, как огромная глыба льда, отливает яркими красками. Солнце словно высекает из него дрожащие радуги.

За облаком мы подошли к станции. Зенитки молчали. Значит, фашисты не подозревали о нашем приближении. Я бросил свой самолет в пике. Когда до цели было около километра, выровнял машину и, нажав кнопку фотоаппарата, прошел над станцией. Саша охранял меня.

Мое появление было настолько неожиданным, что зенитчики упустили несколько секунд, а потом открыли огонь — такой плотности и ураганной силы, какого я до сих пор не видел. Я все же рассчитывал, что уйду благополучно с отличными фотографиями, но вдруг снаряд ударил мне в хвост. Самолет

точно тряхнул какой-то гигант. Разом упала скорость, опустился нос машины. Я сразу же стал быстро терять высоту. Меняя все время курс, не давал немцам пристреляться. Это выручило меня. Шел, почти прижимаясь к земле. Ко мне присоединился Саша.

— Вовка, как ты там? — услышал я в наушниках взволнованный голос брата.

— Как будто все в порядке, — ответил я, хотя чувствовал, что самолет довольно плохо слушается меня.

— Ничего себе порядок! — фыркнул Саша. — У тебя весь хвост ободран. Как будешь садиться?

Самолет пока шел по курсу, а это главное. Сейчас бы дотянуть до аэродрома, а там уж, дома, как-нибудь сядем...

Вот и аэродром. Едва он показался, как я услышал в шлемофоне голос «бати»:

— Я — «Изумруд-один». Тридцатый, пройдитесь надо мной.

«Значит, Армашов слышал наш разговор с Сашей, значит, он все время следил за нашим полетом», — подумал я, и меня охватила огромная сыновняя благодарность к нашему командиру. Я на малой высоте прошел над стартом, зная, что сейчас мой самолет рассматривает «батя» и определяет, насколько он подбит и можно ли мне без риска приземлиться. Снова слышу голос командира:

— Наберите высоту и покиньте самолет.

«Бросить самолет! Ведь вместе с ним погибнут и фотоснимки, добытые с таким трудом», — мелькает у меня в голове, и я отвечаю:

— Самолет слушается рулей. Разрешите посадку.

Армашов молчал две-три секунды. Я знаю, что в это время он спорил сам с собой, прежде чем дать окончательный приказ. Я с замиранием сердца ждал ответа и наконец услышал:

— Будьте внимательны. Подходите на моторе.

Посадил я самолет с трудом, но благополучно. Выскочив из кабины, осмотрел машину. Обшивка задней части фюзеляжа вся содрана. Жаль самолет, но пострадал он не зря: снимки оказались настолько важными и ценными, что немедленно началась штурмовка станции Мацеюв.

Удар по ней был нанесен довольно сильный. Работа станции прекратилась дня на три. Но и мы понесли потери: из-за бестолкового или, вернее, трусливого поведения летчика Маркова был сбит наш друг Конгресско, а затем и сам Марков. Улеглись мы спать в подавленном состоянии. Неужели теперь мы потеряли Конгресско? Говорили о нем и почти не вспоминали Маркова. Он не нравился нам тем, что в полетах всегда держался в хвосте, а во время боя как-то оказывался в стороне.

Наконец усталость взяла свое, и мы уснули. Однако долго отдыхать не пришлось. Затявкали зенитки, и раздался вой падающей бомбы. Мы еще не успели вскочить с нар, как наш дом вздрогнул, качнулся. Посыпалась штукатурка, зазвенели осколки оконных стекол. Казалось, что сейчас дом рухнет и мы будем погребены под его обломками. Ринулись вниз по лестнице, на ходу натягивая на себя одежду. У выходных дверей кто-то кричал:

— Скорее выходите! Бегите дальше. Бомба замедленного действия попала в фундамент.

Дом моментально опустел. Мы бежали от него во всю прыть. Ночь провели на аэродроме под очередной бомбежкой, но на нее меньше обращали внимания, а все поглядывали в сторону своего жилья, ожидая, что оно вот-вот взлетит на воздух. Наступило утро. Дом стоял по-прежнему. К нему подошли саперы, обвязали огромную бомбу тросом, отбуксировали ее подальше на пустырь, спустили в бомбовую воронку и взорвали. Мы снова возвратились для ночевок под крышу.

Вернулся летчик Марков. Он ничего не мог сообщить о Конгресско и даже пытался обвинить в его гибели Лобастова, но летчики тут же дали ему отпор и так пристыдили, что Марков понял, какого мнения о нем товарищи. «Проработка» подействовала — в очередном бою Марков дрался мужественно, храбро и, сам подвергаясь большой опасности, смело шел на выручку товарищей.

В эти дни состоялся бой, в котором с каждой стороны участвовало большое количество машин. Для меня он чуть не стал последним. В самый его разгар неожиданно стали падать обороты мотора, и мне пришлось переключить мотор на вторую скорость. Ничего не оставалось делать, как уходить в облака. Пройдя их и оказавшись над нашей территорией, я направился к своему аэродрому со снижением, так как не думал встретить врага, но он-то не забывал меня. Очевидно, немцы видели, как я выходил из боя, и за мной бросилось три «мессера». Я заметил их слишком поздно. Попытался оторваться от них, снова скрыться в спасительную мглу облаков, но мотор работал только на второй скорости. Меня прошиб пот: «мессеры» настигнут раньше, чем я доберусь до облаков. Вступать в бой было тоже бесполезно — они бы сразу же меня расстреляли. Оставалось одно — не давать немцам возможности вести прицельную стрельбу.

Я тянул в глубь нашей территории со скольжением из стороны в сторону. Фашистские пули пока пролетали мимо машины, но с каждой минутой они все теснее прижимались ко мне. Немцы так увлеклись охотой за мной, что не заметили, как к нам подошло четверо новых истребителей конструкции

Лавочкина. Они неслись мне на выручку, прямо навстречу. Я был готов закричать от радости и нырнул под них, а немцы оказались нос к носу с «лавочкиными». Те дали залп из пушек, и два «мессера» сразу же пошли к земле, разваливаясь, как гнилушки. Третий ускользнул в облака.

— Спасибо, товарищи, — сказал я дрогнувшим голосом. — Спасли меня от гибели.

— Теперь ты нас спасай, друг, — ответил ведущий «Лавочкин». — Бродим над этими чертовыми болотами и не можем найти дорогу к своему аэродрому.

Я знал, что новые машины только вчера прибыли на фронт, и неудивительно, что летчики еще слабо ориентировались над однообразной болотистой равниной этого участка.

«Пристраивайтесь», — качнул я им крыльями и добавил по радио:

— Выведу вас на вашу точку.

Настроение после миновавшей опасности у меня было приподнятое. Я довел «лавочкиных» до их аэродрома, а затем вернулся на свой. Оказалось, что мой мотор был основательно поврежден вражескими пулями.

Да, мне просто везет. А вот товарищ, Миша Юсим, погиб. Я его хорошо знал. Когда-то мы учились в одной школе в Хабаровске, затем встретились на фронте. Небольшой, курчавый, Миша был отличным товарищем и очень скромным человеком. Он хорошо воевал, всегда отличался смелостью.

В этом памятном бою Миша увидел, как восемь «мессеров» насели на нашего подбитого «горбатого», и бросился к нему на помощь. Вмешательство «яка» на некоторое время смутило немцев, а затем они ринулись на него. Один против восьми! Миша принял бой. Он вел его так, чтобы дать штурмовику уйти подальше. Юсим дрался с восьмеркой «мессеров» настолько успешно, что «Ил-2» благополучно доковылял до аэродрома. А Мишу сбили...

Гибель брата

Сейчас я часто бываю в селе Вятском, где живут мои родители. Перед окнами нашего дома, всего в нескольких десятках шагов, бежит могучий красавец Амур. Когда я смотрю на его далекий левый берег, на Большую косу, что вдается в русло реки, я сразу особенно отчетливо вспоминаю Сашу. Ведь это с ним мы проводили долгие часы на рыбной ловле, плавали, борясь с течением, в прозрачной воде Амура, загорали...

Я перевожу взгляд на портрет брата. Саша смотрит на меня

большими упрямыми глазами, сжав губы. Прядь волос упала на лоб. Белая полоска подворотничка туго охватывает его по-юношески тонкую шею. На плечах — погоны младшего лейтенанта. Таким Сашу снял наш фронтовой фоторепортер, таким я его видел в начале апреля сорок четвертого года. А вот еще одна, очень маленькая фотокарточка, размером всего четыре на шесть сантиметров. Это последняя фотография, где я снят вместе с братом.

Помню, произошло это в полдень седьмого апреля. В ожидании боевого приказа сидели у самолета Саши и уже в который раз перечитывали полученное накануне письмо матери. Каждое слово письма мы уже выучили наизусть, но всякий раз находили в нем что-то новое — близкое, родное. Мыслями, сердцем мы переносились на берег Амура, видели перед собой свой дом, правление рыболовецкого колхоза «Краснофлотец» и мать, что стоит у калитки дома и, приложив руку к глазам, пристально, с волнением смотрит на причаливающий пароход — не приехали ли ее сынки...

— Я к вам товарищи офицеры, — вернул нас к действительности чей-то голос. Тень упала на письмо матери, которое держал Саша. Мы подняли головы. Перед нами стоял высокий и какой-то нескладный человек. На нем были щегольские сапоги, летная куртка нараспашку и синие бриджи, которых мы не носили. Через плечо на тонком кожаном ремешке висел фотоаппарат.

— Здравствуйте, — тоном старого знакомого продолжал человек. — Я корреспондент газеты «Советский сокол». Вы братья Некрасовы? Напишу о вас очерк с фотопортретами.

Мы вначале отказывались от беседы и фотографирования. Нам хотелось побыть вдвоем, поговорить о доме, да и, признаться, неумеренное увлечение газетчиков «братьями» просто ставило нас в неудобное» положение перед другими, более опытными и заслуживающими внимания печати летчиками. Но лицо корреспондента выразило такое волнение, что мы поняли — у него могут быть неприятности, если он вернется без очередных «братьев» в номер, и уступили. Так он нас и сфотографировал за чтением письма, на фоне истребителя, а затем, вытащив блокнот, засыпал вопросами...

Я отвечал рассеянно, поглядывая на раскисшее поле аэродрома, на плывущие по синевато-белесому небу облака.

Наша беседа неожиданно прервалась. Мы получили приказ вылетать на очередную разведку в район станции Мацеюв.

Поднялись в воздух и, используя островки облаков, незамеченными прошли Ковель и приблизились к станции. Я

стремительно вырвался из-за облаков и низко прошел над сетью железнодорожных путей, над длинными составами, станционными постройками. Саша следовал за мной. Непрерывно работал фотоаппарат.

Наше внезапное появление ошеломило врага: в первые секунды немцы, суетившиеся у вагонов, из которых выгружались ящики с боеприпасами и техника, застыли на месте, точно окаменели. Потом, охваченные паникой, бросились, кто куда, сбивая друг друга с ног, прячась под вагонами… Эх, пару бы бомб, — с огорчением подумал я. — Угостил бы славно этих…

Но нужно было уходить домой. Мы покинули границы станции в момент, когда пришедшие в себя фашистские зенитчики открыли беспорядочный огонь. Снаряды уже рвались где-то вдали. Мы торопились на свой аэродром — чем быстрее доставишь фотоданные, тем они ценнее.

Вот мы прошли Ковель и оказались над своей территорией. Миновав, вернее, пронзив длинное облако, я увидел, что впереди меня шесть «фокке-вульфов» пристроились к четверке наших «яков» и вот-вот неожиданно набросятся на них. Я немедленно передал по радио:

— Четверка «яков»! У вас сзади «фоккеры»!

— Спасибо! Вижу! Прошу помочь, я — Марков… — послышалось в ответ.

Как мне быть? Возвращаясь из разведки, я не имел права ввязываться в бой. Но разве можно бросить своих, советских летчиков, которые просят о помощи?

У немцев было явное превосходство, но я не раздумывал и, так как был на значительно большей высоте, чем гитлеровцы, атаковал шестерку. Саша шел следом.

Первые секунды боя принесли нам успех. Уже во время атаки один «фоккер», срезанный моей очередью, рухнул вниз, словно его кто-то с земли дернул невидимой веревкой. Поднявшаяся во мне радость тут же уступила место озабоченности: неожиданно сверху нас атаковала новая четверка фашистских истребителей. «Черт, этого еще не хватало!»

Я закричал Саше:

— Идем в лобовую!

— Есть в лобовую! — донесся до меня заглушенный треском выстрелов, работой мотора голос брата. — Бей гадов!

Как правило, немцы не выдерживали лобовых атак и уклонялись от них. Привыкшие к легким победам на Западе, фашисты при наших атаках обычно стремительно уходили. Но сейчас они понимали, что ставят себя в смешное положение, имея численное превосходство, и стремились забраться выше нас.

Достигнув этого, они могли довольно легко разделаться с нами.

— Вовка! — слышу я голос Саши. — Где наши «яки»?

Я оглядываюсь. Ни одного «яка»! Что за ерунда! Ведь только что они были здесь. Может, я просто их не вижу? Мой самолет, как и самолет брата, вертится, точно брошенная в водоворот щепка. Нас окружают девять фашистских истребителей и от каждого к нам тянется по четыре огненные струи. Кажется, от них некуда деваться.

Гитлеровцы явно решили нас расстрелять. Они ползут выше и выше. И мы лезем вверх, но лезем среди огненных смерчей, бросаясь то к оставшейся пятерке «фоккеров», то к четверке. Воздушные пираты увиливают от схваток. Они решили за один свой самолет получить два наших.

Я уже перестал разыскивать наших истребителей. Их, очевидно, отвлекла какая-нибудь новая группа немецких самолетов. На мои радиопозывы «яки» не откликались. Нам с братом ничего не оставалось, как вести воздушную «дуэль» — двое против девяти!

Высота уже пять тысяч метров! У меня такое ощущение, что все огненные трассы врага направлены прямо в мое сердце. Оглядываюсь на самолет брата. Он прикрывает меня, не допускает, чтобы какой-нибудь фашист зашел мне в хвост, а у самого самолет в сетке огня. Да, мы превратились в своеобразные мишени. Фашисты уже торжествуют, предвкушая победу над нами! Я об этом догадываюсь по их маневрам. Наши лобовые атаки хотя и отвлекают гитлеровцев, мешают им вести прицельный огонь, но все же ощутимых результатов не дают.

Сейчас я с удивлением думаю о той нагрузке, которую выдерживали наши самолеты. Мы с братом бросали их в такие виражи, требовали таких рывков и, если так можно выразиться, «прыжков» вверх и вниз, что, казалось, машины развалятся на части; но они продолжали четко работать.

Бой идет пока без перевеса на чьей-либо стороне. Высота шесть тысяч метров! А мы все продолжаем ее набирать. Выше, выше! Кто выше — тот победит, тот останется жив! Кто ниже — тот погиб!

Делаем маневр: резко разворачиваемся на заходившую к нам в хвост пятерку «головастиков». Между нами короткая дистанция. От лобовой атаки немцы теперь не могут увильнуть, так как это добром для них не кончится.

— Вовка, не вздумай свернуть! Бей гадов! — слышу я гневный голос брата.

Машины стремительно сближаются нос к носу. Мы идем в лобовую атаку против пяти «фоккеров», к тому же к ним на

помощь спешит запоздавшая четверка. Я выбираю ведущего фашиста и направляю на него своего «яка». Саша идет со мной рядом. Я не свожу взгляда с немецкой машины. Держу прямо на нее. Рука твердо лежит на гашетках, сжимаю ручку управления.

— Хорошо, хорошо, Вовка! — кричит подбадривающе брат.

Я и сам успокаиваю себя: «Смелее, смелее! Так надо... Отворачивать нельзя. Победит тот, у кого крепче нервы. А если погибнуть, так взяв с собой еще одного гада. Только не прозевать!

Когда самолеты, казалось, вот-вот врежутся друг в друга в лобовом таране, фашист не выдержал, сделал свечу, подставив свой «живот» моим пушке и пулемету. Они сразу же выбросили смертоносный огонь. Фашист, блеснув четырьмя крестами, повернулся на спину, запылал и пошел к земле.

Гитлеровцы замешкались, и Саша этим воспользовался. Он крикнул мне:

— Иду в атаку! Прикрывай!

Самолет брата отваливает от меня и несется на «фоккеров». Я бросаюсь следом за Сашей и вижу, что от его машины к правому «фоккеру» протянулись и как бы прикрепились огненные трассы.

— Есть! — кричит Саша. — Есть, Вовка!

Фашистский самолет клюнул и, задымив, рухнул вниз. Все это произошло во много десятков раз быстрее, чем сейчас рассказываю. Саша бросился в атаку несколько рано, погорячился, и это использовал левый истребитель в четверке «фоккеров». Ему удалось взять в прицел Сашин самолет и дать длинный залп из всех своих пулеметов. Четыре огненных шнура пронзили машину брата, и самолет вспыхнул так ярко, что мне показалось, будто он взорвался!

Нет! Саша перевернулся на левое крыло и, оставляя за собой султан дыма, с высоты в семь тысяч метров пошел к земле, отважно стараясь сбить пламя. Я бросился за ним. Все «фоккеры» ринулись следом.

Саша горит! Саша сбит! Я отказывался этому верить и кричал по радио:

— Сашка! Сашка! Сашка!..

Ответа не было. Неужели?.. Нет!.. Я гнал от себя страшную мысль. Мы неслись навстречу земле в отвесном пикировании. Стрелка высотомера падала: шесть тысяч метров, пять тысяч... три тысячи...

С каждой секундой положение становилось опаснее. От большой скорости, от напряжения мой самолет начал разрушаться... Я позднее установил это подробнее, но тогда только догадывался. В тот момент у меня сорвало кок винта, щитки шасси...

— Сашка! Выводи самолет из пике! — кричал я брату. — Саша, выводи! Саша, выводи!

Брат молчал... Я вышел из пике. На высотомере — тысяча двести метров! Перед нами слой облаков. Прежде чем войти в него, я оглянулся — фашистские стервятники продолжали гнаться. Я вонзился в облака и тут же пробил их. И в этот момент увидел брата. Он выпрыгнул из горевшей машины — передо мной раскрылся белый купол парашюта. Как-то сразу стало легче на душе. Значит, Саша жив. Его самолет, превратившийся в огненный ком, ушел к земле.

Проводив взглядом Сашину машину, я стал кружить над его парашютом.

Как черные вороны, в стороне пронеслись два «фоккера». Остальные вражеские машины остались за облаками. Немцы

начали маневрировать. Они хотели расстрелять покачивающегося на стропах Сашу. Нет, не выйдет! Я ловлю в прицел одного фашиста, но мои пулеметы и пушка молчат: нет ни одного снаряда, ни одного патрона. А что если враги догадаются, что у меня кончились боеприпасы? От этой мысли на лбу появляется пот. Но, как учили меня в школе истребителей, — летчик никогда не должен терять присутствия духа.

Я бросил свой самолет навстречу ближнему фашисту, который намеревался прошмыгнуть мимо меня к снижающемуся почему-то слишком быстро Саше. Гитлеровец не выдержал встречи и отвалил в сторону.

Так повторялось несколько раз. Фрицы не принимали лобовой атаки. Принять ее — значило столкнуться и погибнуть. Я был готов отдать свою жизнь за брата и снова и снова шел в атаку. Попытки немцев прорваться к Саше так и не увенчались успехом. Когда же Саша приблизился к земле, они позорно повернули и скрылись...

Небо над нами было чистое. Я направил самолет к тому месту, где на земле белел распластавшийся парашют Саши. Брат спасен! Я вижу, как к нему бегут люди, наши, советские люди. Они в военной форме. Где же это? Оглядываю землю и узнаю местность. Передовая линия фронта проходит километрах в четырех-пяти. Здесь же, в леске, укрыта радиостанция наведения нашей дивизии. Ну, Саша в надежных руках! Теперь скорее на аэродром, узнать о его состоянии. Быть может, он тяжело ранен?

Я делаю круг над людьми, которые машут мне руками, над парашютом, над обломками Сашиного самолета и держу путь на свой аэродром. В ушах сильный звон. Что это? С мотором что-нибудь случилось? Только сейчас понимаю, насколько пострадали барабанные перепонки при нашем сумасшедшем снижении.

Впереди аэродром. Мне разрешили посадку. Там, видимо, знали о нашем бое. Едва я зарулил на стоянку, как ко мне подъехал командир полка.

— Все знаю, — остановил он мой рапорт.

Мы невольно посмотрели на то место, где недавно стоял самолет брата. Там сохранились на непросохшей земле следы колес. Бесформенной кучей лежал зеленый чехол самолета... Возле ящика с инструментами стоял и с нескрываемым горем смотрел на меня Сашин механик. Видимо, и у меня такое же измученное страхом за брата лицо, потому что мы, на мгновение встретившись взглядом с Володей Шуваловым, отводим глаза.

— «По-2» ждет вас, — сказал мне командир полка. — Летите к брату.

Больше он ничего не добавил, а только по-отечески положил мне руку на плечо и слегка пожал его, словно пытался успокоить. Сердце мое сжалось от боли, стало трудно дышать. Я понял, что с Сашей очень плохо.

Я со всех ног помчался к маленькому темно-зеленому самолетику, который так славно зарекомендовал себя и получил ласково-дружеское название «кукурузника». Летчик сразу же вывел машину на старт — и мы в воздухе. Я машинально взглянул на часы. Скоро четыре часа пополудни. День стоял серый, невеселый. Под нами тянулась мокрая земля. Она так медленно проплывала под самолетом, что я с трудом сдерживался, чтобы не поторопить летчика. Но он отлично понимал мое состояние и старался выжать из мотора все, что можно.

Наконец я увидел на земле обломки «фоккера», сбитого Сашей, а вскоре — и его самолета. Несколько в стороне под деревьями появились люди. Мы шли так низко, что я видел поднятые к нам лица.

Летчик долго выбирал место для посадки, потом показал мне на землю. Здесь садиться было невозможно, а о взлете и думать нечего.

Покачав крыльями, дав знак, что мы скоро будем, летчик повел машину назад, и мы сели километрах в пяти. С виноватым видом летчик сказал мне:

— Ближе невозможно...

— Знаю, ничего, — ответил я. — Ждите меня.

— Я с вами, — произнес он.

Мы оставили машину в поле и направились к станции наведения. Шли молча. Вдруг я вспомнил, что люди у деревьев не махали нам руками. В их позах, движениях не было ничего, напоминающего, что люди рады появлению самолета. Я ускорил шаг...

На полпути нас встретили два офицера и солдат. Узнав, что я брат Саши, офицеры смешались. Солдат что-то проворчал себе в усы.

— Как брат? — крикнул я.

— Погиб, — очень тихо проговорил один из офицеров.

Я не хотел, не мог верить и бегом бросился вперед.

Вот и вход в землянку. Дверь открыта. По крутым ступенькам я сбежал вниз, не замечая людей. Я видел только Сашу. Он лежал на парашюте со сложенными на груди руками. Я опустился рядом с ним на колени.

— Саша! — тихо позвал я брата. Так я всегда звал его, когда хотел разбудить, и осторожно трогал за плечо. То же самое я

сделал и сейчас. Но моя рука почувствовала холод неподвижного тяжелого тела.

— Саша! — снова тихонько окликнул я. Казалось, что он спит. Нигде ни единой раны, только маленький розовый кружок ожога на левой руке. Лицо спокойное, даже задумчивое...

Шатаясь, я вышел из землянки. Меня отвел в сторону офицер, к нам присоединились все, кто был свободен от дежурства. Я, как сквозь сон, слышал объяснения старшего офицера.

Оказывается, Саша даже не был ранен. Разрывные пули с фашистского самолета разбили ручку управления на машине брата, пробили бак, вызвали пожар и, кроме того, перебили правую лямку парашюта, который потерял почти половину своей сдерживающей силы, и Саша ударился о землю. Первые минуты он был еще жив. Когда к нему подбежали люди, он смотрел в небо и с трудом говорил:

— Как Вовка?.. Как... Вовка?..

Потом затих и, сжав руки на груди, как это он делал, когда засыпал, навсегда закрыл свои большие, ясные глаза.

Если бы у Саши раньше не была повреждена левая рука, возможно, он смог бы поймать перебитую лямку и благополучно спуститься на землю...

Похоронили Сашу на развилке трех дорог, в четырех километрах от Ковеля. Прозвучали над свежим холмиком пистолетные выстрелы, и я остался один у могилы брата. Я думал о том, как мы жили с Сашей, как мы стали летчиками, как читали в этот последний день письмо от матери... Как же я напишу ей о случившемся? Ведь она ждет нас обоих — здоровых, невредимых. Ждет с победой...

— Прощай, Сашенька, — проговорил я и медленно побрел от могилы.

Трудно терять родного, любимого человека, но вдвойне трудно терять его на войне, когда он не только твой близкий, а еще и воин, сын Родины, нужный для ее защиты. Будьте вы прокляты, фашисты! Никогда человечество не простит вам ваших зверств ни на нашей земле, ни на древней земле Эллады, ни на солнечной земле Испании — нигде! Руины Варшавы, гордые твердыни волжской цитадели навсегда останутся в памяти людей. Мысленно я клялся брату, что его гибель дорого обойдется врагу.

Вернувшись на аэродром, я был встречен Армашовым и тут же сказал ему:

— Хочу в воздух, на боевое задание!

— Понимаю, — кивнул «батя».

Если в других частях командиров и называли «батями», то только просто по традиции, а в нашем полку майор Петр

Александрович Армашов действительно был нашим настоящим отцом. И если я об этом говорю снова, то только потому, что Армашов в моей памяти и моем сердце живет до сих пор таким. И как в условиях фронтовой обстановки у этого человека хватало времени не только на боевое воспитание летчиков, но и на глубокое изучение жизни каждого из них до фронта, на знакомство с его домашними делами, его интересами и намерениями на будущее!

Петр Александрович — один из тех людей, которых заслуженно называют гордым словом — коммунист!

Как нам хотелось быть хоть немножко похожими на него, и, конечно, каждый из нас мечтал быть, как и «батя», членом великой нашей партии, созданной Лениным.

— Твое желание вполне понимаю, — повторил Армашов. — Но послушай доброго совета: отдохни немного.

— Это так трудно! — вырвалось у меня. — Быть без дела...

— И все же это полезнее для нас всех, — и Армашов тепло взглянул мне в глаза.

Он больше не сказал ни слова, но я понял его: он боялся, что в таком состоянии я могу наделать ошибок. И хотя мне было необыкновенно тяжело в тот момент оставаться без полетов, я понимал, что «батя» прав.

Мы расстались. Но я прошел лишь несколько шагов, как «батя» окликнул меня:

— Подожди-ка...

Я вернулся.

— Вы хорошо сделали, что помогли Маркову, — сказал Армашов. — Он тоже был связан шестеркой «фоккеров» и не мог подойти к вам. — «Батя» помолчал и добавил: — Напиши письмо родным. Прежде отцу. Он у тебя бывший партизан, отличился в этой войне. Он все поймет, я знаю...

Трудно было писать это письмо. Но в тот же день оно ушло к отцу. В письме я послал и карточку, которую мне накануне вручил фотокорреспондент. На ней мы с Сашей читали письмо матери. Долго я смотрел на фотографию — этот небольшой квадратик мягкого картона. Как он был дорог и мне и родителям!..

Спустя несколько дней я вновь встретился с корреспондентом. Он остановил меня и заговорил быстро, с волнением:

— Ваши товарищи сказали мне, что я виноват в гибели вашего брата Саши... — у корреспондента прервался голос. — Говорят, что есть поверье: перед полетом не фотографировать. Но я же...

— Не обращайте внимания на глупые приметы. — Я взял корреспондента за руку. — Саша погиб в бою.

— Я обязательно напишу о нем очерк, — с благодарностью смотря на меня, произнес журналист.

И он бы написал его. Позднее я узнал, что это был хороший молодой журналист Андрей Лабезник, но он вскоре погиб на передовой, где собирал материал для очередного номера газеты...

Валя после гибели Саши замкнулась, стала печальна и старалась избегать меня, потому что я напоминал ей Сашу. Я много раз пытался поговорить с ней, как-то успокоить, но Валя всегда останавливала меня:

— Не надо, Володя, не надо... — и торопливо уходила.

В нашей эскадрилье все бережно, заботливо относились к девушке. Но все же вскоре Валя попросила перевести ее в другую часть. Она уехала, не оставив своего адреса. И мы потеряли друг друга из виду...

Сколько и я, и другие ребята из нашей части ни пытались узнать, где находится Валя, нам это не удавалось. И только уже после войны мне рассказали, что Валя, овладев специальностью стрелка-радиста, стала членом экипажа бомбардировщика. Она мстила за Сашу, за свою любовь. Однажды ее бомбардировщик не вернулся с задания. Валя погибла! Она, как и Саша, отдала свою жизнь за нашу Родину, за нашу победу.

Саша награжден!

Пришел приказ покинуть Сарны и перебазироваться на новый аэродром. Командир полка распорядился, чтобы вечером собрался весь личный состав.

Армашов сделал краткий обзор боевых действий за время нашего пребывания в Сарнах. Мы, оказывается, сбили в три раза больше фашистских самолетов, чем потеряли своих. Один к трем! Что ж, результат неплохой. К тому же мы ведь уничтожили немало техники и живой силы врага.

Потом, сделав небольшую паузу, командир полка заговорил о наших товарищах, погибших в воздушных боях. Стало очень тихо. Мы вспоминали своих фронтовых друзей, которых больше уже никогда не увидим. Перед нами вставали образы тех, кто жил и летал с нами, помогал нам, ходил в паре...

«Батя» заговорил о Саше, о его боевой работе. Саша сделал шестьдесят боевых вылетов, участвовал в пятнадцати воздушных боях, сбил четыре фашистских самолета... Я не слышал, что дальше говорил Армашов. Я вновь и вновь думал о Саше, вспоминал наши разговоры, нашу жизнь, и мне казалось, что вот-

вот он подойдет ко мне и, как всегда, чуть насмешливым тоном (этим он хотел уравнять нашу разницу в возрасте) что-нибудь скажет. Из задумчивости меня вывел сидевший рядом Марков. Он тронул меня за рукав, шепнул:

— Слушай...

Я поднял голову и затуманенными глазами посмотрел на «батю». Он говорил:

— Младший лейтенант Александр Петрович Некрасов посмертно награжден орденом Отечественной войны первой степени...

Мне предложили сказать несколько слов о брате. Я никогда не думал, что это так тяжело. Каждое слово давалось с большим трудом. Я произнес две-три фразы, которых сейчас уже не помню, и заключил следующими словами:

— Я всегда буду драться и за Сашу и за себя — за двоих. Клянусь, что отомщу за его смерть и за смерть всех наших дорогих товарищей!

Теперь орден Отечественной войны первой степени с благоговением хранится в нашей семье как свидетельство Сашиного высокого воинского мастерства и верного служения Родине.

Я назначен командиром учебного звена. Оно состояло, за исключением моего ведомого Бродинского, сплошь из новичков — Даватьяна, Соколова, Симченко, Шатохина, Хроленко, Сапронова, Рудова и Лебедева, которых надо было вводить в строй. Они, как и мы когда-то, горели желанием поскорее принять участие в воздушных боях, но мы сдерживали молодых и в промежутках между боевыми вылетами передавали им свой опыт, приучали к фронтовой обстановке.

Меня поражало то обстоятельство, что новое пополнение оказалось куда более тщательно подготовленным, чем предыдущее. Это был очень хороший признак. Значит, в тылу готовили летчиков неторопливо, вдумчиво, серьезно, спокойно, а это свидетельствовало о нашей силе, нашем хорошем положении на фронтах и, следовательно, о нашей неизбежной победе!

Сам я продолжал мстить фашистам. Как-то, получив приказание прикрыть посадку наших штурмовиков на соседнем аэродроме, я поднялся в воздух с Бродинским, выполнил задание и направился домой. Едва мы легли на обратный курс, как услышали сообщение наземной радиостанции наведения:

— Я — «Дерево-пять». Надо мной ходит «рама».

Я, недолго думая, взял курс на линию фронта и через пять минут разыскал «раму», которую прикрывали два «фоккера».

— Поднимайся выше, чтобы «рама» тебя видела, — приказал

я Бродинскому.

Он послушно выполнил мою команду, а я снизу на большой скорости подошел к вражеской машине и тремя выстрелами из пушки разбил одну ее балку. «Рама», кувыркаясь, пошла вниз. Теперь ей не было спасения. Я приготовился к тому, что вслед за этим придется сцепиться с «фоккерами», которые меня увидели. Однако они сочли более благоразумным уйти на свою территорию.

Мы с Бродинским повернули домой в полной уверенности, что нас похвалят за самодеятельность. Каково же было мое изумление, когда я был вызван на КП и увидел здесь командира дивизии полковника Петрова. Вид у него был суровый.

— Вы нарушили дисциплину, — загремел голос полковника, — и я... — Тут у меня мурашки пробежали по спине, — ...должен был бы вас наказать за самостоятельный уход на линию фронта в пример всем, кто превращает войну в... черт знает во что!.. Но сегодня я вручаю вам первую вашу награду и поэтому прощаю.

У меня отлегло от сердца.

Полк был построен у развернутого знамени, и полковник вручил нам награды.

Я получил первый орден Боевого Красного Знамени. Получили награды и многие товарищи. За сбитую «раму» мне все-таки выдали полагающуюся премию в виде литра вина, и мы с Бродинским и друзьями «обмыли» награды, поднимая тосты за их умножение, за нашу окончательную победу...

В это время мы стояли на аэродроме Черторыска. Однажды я поднялся в воздух для тренировки с молодым летчиком Лебедевым. Выполнив ряд упражнений на высоте двух с половиной тысяч метров, за облаками, мы направились домой. Едва пробили облачность, как метрах в тридцати я заметил «фоккер». Вражеский летчик меня не видел. Рука так и тянулась нажать на гашетку. Я мог снять фрица одной очередью. Год назад я так бы и сделал, но сейчас сдержал себя, оглянулся, — а вдруг рядом ходит второй фриц? Так и есть, вот он! Заходит в хвост Лебедеву! Предупредить молодого летчика по радио было уже поздно, и я рванул свой самолет под «фоккер», зная, что Лебедев последует за мной. Я не ошибся. Мы сбили прицел немца, его снаряды и пули прошли мимо.

«Фоккеры», видя, что нас два на два, ушли в облака. Как я жалел, что на моем самолете не было тогда тридцатисемимиллиметровой пушки! Недосчитались бы немцы минимум одной своей машины.

Мы сели. И хотя товарищи подшучивали над нами, что мы «по-джентльменски» отпустили фрицев, я знал, что поступил

правильно. Если бы я сбил первого «фоккера», второй наверняка сбил бы Лебедева...

Возвращаясь с аэродрома в землянку, я заметил, что у доски объявлений собралась группа летчиков и механиков. Я подошел к ним и увидел... Сашу. Да, да, Сашу! Он смотрел на меня с большого плаката. Художник очень удачно передал сходство. Тут же лаконичный текст рассказывал о боевых делах Саши. Таких плакатов в части становилось все больше и больше. У меня потеплело на сердце. Я был горд за брата!

На фронте наступило временное затишье. Советские войска готовились к прорыву немецкой обороны и освобождению города Ковеля. Наша эскадрилья вела будничную работу — занималась разведкой, расстреливала немецкие эшелоны на перегонах, войска на марше, колонны машин, самолеты над немецкими аэродромами.

Меня больше всего привлекала свободная охота. В ней было много неожиданностей, но в то же время предоставлялась большая свобода действий.

Из этих многочисленных полетов мне особенно запомнился один. От Пинска в сторону Сарн немцы по болоту проложили настильную деревянную дорогу. По ней перебрасывали на фронт боеприпасы, технику, живую силу. Мы об этом хорошо знали, однако никогда не видели на дороге движения — немцы действовали по ночам, в самую густую темноту.

Но нам повезло. Едва мы с Лобастовым — он с четверкой, а я с парой — прошли над дорогой километров пять, как заметили большой немецкий обоз. В нем было около двухсот двуколок. Видно, дела на фронте были у «завоевателей» плохие, если они решили днем двигаться по этой дороге. Двуколки были гружены боеприпасами. Лобастов приказал мне атаковать обоз против хода, а сам со своей четверкой зашел в атаку по ходу, чтобы создать пробку.

По сторонам дороги сквозь траву поблескивала вода. Там была трясина. Мы решили в нее и загнать всех обозников. Лобастов со своей четверкой поливал их густым пулеметным огнем. На дороге началась паника. Лошади вставали на дыбы, сбивая в трясину людей и повозки. Фашисты, не зная, куда деваться, прятались под повозки, те их давили. Многие, ища спасения от пуль, прыгали в болото и там тонули.

Едва Лобастов вышел из атаки, как начал ее я, ведя огонь из пушки и пулемета. За мной следовал Бродинский. На дороге все перемешалось. А мы непрерывно расстреливали обоз. Над ним в разных местах начали взлетать фонтаны дыма и огня. Это на повозках рвались боеприпасы. Взрывы учащались, и теперь немцы

десятками прыгали в болото...

Когда весь обоз был разгромлен, мы прекратили огонь и уже собрались возвращаться на свой аэродром, как вдруг на горизонте показалось шесть «мессеров». Их, очевидно, вызвали по радио обозники. Но вражеские машины пришли с опозданием.

Я ждал, что прикажет Лобастов, который в это время был уже командиром нашей эскадрильи. У нас кончились боеприпасы, удирать же от врага, когда мы один на один, было просто стыдно. Лобастов правильно оценил состояние немцев — ведь они не знают, что имеется в наших патронных ящиках, — и смело ринулся в бой. По приказу Лобастова мы пошли навстречу фашистам, и те, даже не пытаясь вступить в бой, повернули назад.

— Хоть фрицы на сей раз и удрали, как зайцы, все же нам надо всегда иметь в запасе снаряды и патроны, — сказал Лобастов, когда мы приземлились. — Не всегда наша атака без боеприпасов может окончиться благополучно.

После этого мы уже никогда не оставались без патронов и снарядов, какой бы жаркий бой ни вели.

Счет мести растет

Счет моей мести за гибель Саши растет. Шесть фашистских самолетов лежат ржавеющими обломками в пинских болотах. Вот об этом я и пишу письмо на родину, на далекий Амур. Я рассказываю, что из этих шести самолетов — четыре истребителя «Фокке-Вульф-190», машины того типа, к которому принадлежал самолет, подбивший Сашу, две «рамы» («Фокке-Вульф-189») — фашистские разведчики...

Но этот счет для меня очень мал. Я должен драться и за себя и за Сашу, а ведь он тоже сбил бы не один самолет за это время. И я делаю приписку в письме: «Буду громить фашистов еще сильнее!» Письмо закончено. Во сколько же дней оно пройдет путь до Хабаровска? Я смотрю на свежий номер армейской газеты. Сегодня 3 июня 1944 года. Вернее, уже наступило четвертое число. Товарищи спят. Пора и мне отдыхать — с утра начнется напряженная боевая работа, ибо на фронте идет усиленная подготовка к наступлению.

Утром вылетаем в сторону городов Пинска и Кобрина с Витей Бродинским. Задача у нас чисто разведочная — просмотреть линии железных дорог, выяснить характер фашистских эшелонов. Мотор работает ровно. Видимость хорошая — высокая облачность нам не мешает. В боевых делах, в постоянном напряжении немного затянулась глубокая рана в душе, вызванная гибелью

брата.

Моя рука еще крепче сжимает ручку управления. Курс держу на Кобрин, который находится примерно в ста километрах за линией фронта. Скоро мы пойдем над территорией, занятой врагом.

Но мы не успели перелететь передний край. Совершенно неожиданно из облаков появился «Хейнкель-111» — тяжелый бомбардировщик. Его черное акулообразное тело с хищным клювом, с поблескивающей, как огромный холодный глаз, застекленной кабиной медленно плыло над нашей землей. Самолет высматривал цель для бомбежки. Черные кресты на фюзеляже и крыльях, казалось, бросали на мою землю такую же зловещую черную тень.

Я находился выше него. Сделал разворот, бросился вниз, под бомбардировщик, и под небольшим углом пошел в атаку. Прямо на меня из брюха самолета смотрела пушка. Она была готова выплюнуть огонь. Но я опередил фашиста и послал в него заряд из пушки и пулемета, а сам поспешно вывел самолет влево и вверх для повторного захода в атаку.

«Хейнкель» стал падать на правый мотор, который охватило пламя. Я снова атакую и бью по фашисту слева. Бомбардировщик пошел к земле быстрее. За ним потянулась широкая, медленно рассыпающаяся в воздухе полоса дыма.

Мы с Бродинским, который во время моей схватки с фашистом находился над нами, охраняя меня от воздушного нападения вражеских истребителей, пошли за «хейнкелем». Все время теряя высоту, тяжелая машина скользила над болотами, серебристо поблескивающими водой; вот она уже почти плюхнулась и поползла по болоту, оставляя за собой широкий и глубокий след примятой травы. Оказавшись над фашистом, мы пошли на штурмовку. Наши пули и снаряды ложились точно в цель, и вот через минуту самолет врага охватило высокое пламя. Мы стали уходить. За нами поднялся огненный столб — вражеский самолет взорвался.

На большой высоте мы пересекли линию фронта и подошли к станции Кобрин. Насчитали здесь семь эшелонов. Но начал быстро нарастать зенитный огонь. Он стал настолько прицельным, что мы вынуждены были уйти. С аэродрома, что лежал у станции, поднялись два «фоккера», однако они скоро потеряли нас из виду. Мы пошли над железной дорогой к Пинску.

Уже у самого города мы настигли большой состав и с удивлением увидели, что он гружен сеном. Что за черт! Зачем фрицам потребовалось так много сена?

— Штурмуем! — говорю я Бродинскому. — Хоть и сено, а

фашистское!

— Есть штурмовать! — отвечает он весело. Ему тоже смешно: может, фрицы на сенное питание перешли, чтобы больше прыти было удирать на запад?

Я нажимаю на кнопки оружия и прохожу над составом. Сено вспыхивает неожиданно ярко, кверху буквально рвутся длинные языки огня. Паровоз отцепляется от эшелона и, быстро набирая ход, несется к Пинску. Мы бросаемся за ним, но вскоре у моста нам преграждает дорогу стена зенитного огня, и мы возвращаемся назад к составу. Нашему удивлению нет предела. Состав пылает, и мы видим, как время от времени там взрываются... цистерны! Самые настоящие цистерны, в которых транспортируется горючее! Оказывается, немцы замаскировали прессованным сеном большой состав с бензином, а мы подожгли его и уничтожили. Это был чувствительный удар по технике фашистов: на некоторое время на этом участке фронта она оказалась почти без горючего.

В прекрасном настроении вернулись мы на свой аэродром, пообедали и снова отправились «на охоту». Теперь наш маршрут от станции Видзипур на городок Лунинец.

Не сделав и половины пути, мы натолкнулись на двух «Юнкерсов-88». Наученные горьким опытом, фашисты торопливо спрятались в облака. И сколько мы ни пропахивали облака, сколько ни поднимались выше их и ни спускались — фрицы исчезли, словно стали невидимками. Ничего не скажешь, стали «мастерами драпа»!

Восточнее города Лунинец выходим к аэродрому. На нем довольно беспечно рулит бомбардировщик. По контурам определяю, что это «Дорнье-217». Что ж, весьма кстати. Такой машины на моем счету еще нет.

— Атакуем! — кричу я.

Сразу же перехожу в пикирование и, падая на бомбардировщик, открываю огонь. В ответ раздается треск аэродромных зениток. Вокруг моей машины возникают разрывы. Бьют малокалиберные пушки.

По густоте разрывов вижу, что зенитный огонь принимает угрожающую плотность. Мои выстрелы попали в цель — «дорнье» пылает, как хорошо подготовленный костер. Но мне уйти вверх не позволяют зенитки. Иду почти у самой земли, за мной — Бродинский. Уходим в глубь территории, занятой врагом, — иного выхода нет. А зенитки неистовствуют. Кажется, еще немного — и наши машины будут разнесены в клочья, но быстрота и непрерывное изменение курса спасают нас. Мы оказываемся вне досягаемости зенитного огня, и только тут я с

особой отчетливостью понимаю, в какой опасности был.

— Ну как?

— Поначалу трудно было, а привык — ничего! — шутит Бродинский. Но по его голосу я догадываюсь, что и этот веселый, никогда не унывающий человек пережил несколько трудных минут.

Мы оказываемся над лесом и тут взмываем в облака, делаем большой круг и внезапно вновь появляемся над аэродромом — надо же сфотографировать горящий бомбардировщик фашистов. Этот дерзкий маневр застал немецких зенитчиков врасплох. Прежде чем они успели открыть огонь, мы уже снова были в облаках, здесь опять изменили курс и направились вдоль железной дороги на Пинск. Однако сколько мы ни присматривались, никакого объекта для себя не нашли и вернулись на свой аэродром. Здесь нас поздравили с уничтожением бомбардировщика и отправили отдыхать. Вечером нам снова предстояло быть в воздухе.

На этот раз полетели четверкой: старший лейтенант Лобастов, его ведомый Дима Хохряков и я с Витей. Повторили наш утренний маршрут. Я почти уверен, что полет будет пустым — мы ведь так насолили немцам с эшелоном бензина, что они, поняв усилившуюся активность нашей авиации, по элементарным законам здравомыслия должны были всякое движение днем прекратить, перенести его на наиболее темные ночные часы. Но немцы были весьма настойчивы в своем стремлении делать все строго по графику, пунктуально. Едва мы вышли к перегону Кобрин — Пинск, как заметили несущийся на буксире автодрезины голубой пассажирский вагон.

Сумерки еще не наступили, хотя в лесу уже стлалась предвечерняя дымка. Лобастов крикнул:

— Атакуем!

Ну еще бы, упустить такую цель! Лобастов ястребом кинулся вниз на вагон. Нас заметили, и дрезина ускорила ход. Наивные водители хотели уйти по рельсам от свободно несущихся самолетов! Лобастов прострочил по вагону и дрезине, за ним повторил тот же маневр Хохряков, а затем наступила моя очередь.

Едва я пошел в атаку, как увидел, что из окон и дверей вагона стали выпрыгивать немецкие офицеры. Они кубарем скатывались

по насыпи. Но это не спасало их от наших пуль. Я нажимал кнопку и отчетливо видел, что бью без промаха. За мной атаковал Бродинский, но вагон и автодрезина продолжали идти. Лобастов повторил заход, и вот дрезина, разбитая снарядом, замедлила ход. На нее налетел вагон, сбил с рельсов, и она, кувыркаясь, полетела под откос. Вагон, пройдя по инерции еще несколько десятков метров, остановился. Наши пули основательно его продырявили. Больше никто из вагона не показывался, и мы продолжали свой полет дальше. Позднее нам стало известно, что в вагоне возвращалась с важного совещания группа штабных офицеров. Только двое или трое остались в живых. Большинство легло под березовые кресты тут же у дороги.

Вечер выдался у нас удачным. Оставив железнодорожную ветку, мы пошли над проселочной дорогой и сразу же наткнулись на взвод вражеской кавалерии. Уже при одном нашем появлении фашистские кавалеристы с удивительной быстротой ринулись в разные стороны, под покров деревьев. Послав вдогонку несколько очередей, мы повернули домой. Быстро темнело, к тому же мы основательно забрались в расположение противника...

Так протекала наша будничная боевая работа. В это время немецкие летчики стали заметно уклоняться от активных встреч с нами и больше старались из-за угла напасть на наших штурмовиков.

Не всегда наши налеты на вражеские пункты проходили благополучно. Помню, однажды при штурмовке станции Видзипур зенитный огонь врага заставил нас после третьего захода отказаться от дальнейших атак и перейти на бреющий полет. Тут Витя Бродинский допустил ошибку. Он рано стал набирать высоту, и осколки зенитного снаряда повредили плоскость и элерон его машины. Все же до дому он дотянул, а к утру самолет, благодаря усилиям механиков, был снова готов к полету...

Неожиданно мы получили странный приказ. Собрав нас, командир полка сказал:

— Вам дается задание охранять железнодорожное полотно на территории, занятой врагом.

В первую секунду нам показалось, что или командир оговорился, или мы ослышались. Он видел наше недоумение и повторил задание. А затем его разъяснил. Оказывается, немцы при отступлении уничтожали железнодорожное полотно, и мы должны были помешать им.

Как же это выглядело? Фашисты или просто рвали полотно взрывчаткой, или к мощным паровозам прицепляли огромные металлические крюки, которые выворачивали шпалы, гнули

рельсы, срывая их с креплений, уродовали саму насыпь.

Началась наша новая работа. И мы с товарищами спасли не один десяток километров путей, по которым вскоре пошли наши составы...

В это время в моей жизни произошло самое значительное событие. Спустя некоторое время после гибели брата я подал заявление с просьбой принять меня в ряды нашей великой Коммунистической партии. Я с понятным волнением ждал, когда же оно будет рассмотрено и найдут ли коммунисты нашей части меня достойным носить высокое звание члена партии.

Наступил день, которого мне никогда не забыть. Я дежурил на аэродроме. Вижу, ко мне направляются пять человек. Среди них — председатель партийной комиссии дивизии, члены партбюро нашего полка и майор Фатин, заместитель командира полка по политической части.

Здесь, прямо у самолета, в котором я нес боевое дежурство, меня приняли в кандидаты партии! Радости моей не было предела, когда мне вручили кандидатскую карточку. Она словно дала мне новые силы для борьбы с врагом. И я бил врага, не зная пощады!..

Вскоре мне было присвоено звание лейтенанта, и сам командир полка надел мне новые погоны.

В этот вечер, когда за товарищеским ужином меня поздравляли с новым званием, я думал о Саше. Ведь ему бы тоже сегодня «батя» надел новые погоны. А командир полка словно угадал мои мысли. Он подошел ко мне со стаканом вина и сказал:

— Выпьем за твои успехи и за светлую память Саши!

Как я был благодарен ему за это! Но от волнения смог произнести лишь единственное слово:

— Спасибо!

— Спасибо тебе, что хорошо дерешься, — ответил Армашов. — Да не забывай учить молодежь.

В полк прибывали выпускники из летных школ, и мы их приучали к боевой обстановке, передавали свой опыт. Среди своих молодых учеников я очень хорошо запомнил младшего лейтенанта Лешу Симченко. Это был высокий широкоплечий гигант, настоящий Илья Муромец. Круглое, полное лицо Леши всегда было спокойным и даже чуть-чуть флегматичным. Товарищи подшучивали:

— Ну, Владимир, и ученичок у тебя! Такой и в самолет не поместится, а если уж втиснется в него, так раздавит!

Леша, слушая эти шутки, только улыбался. Учеником

Он оказался способным. А иногда с ним происходили из ряда вон выходящие случаи, о которых говорил потом весь полк.

Однажды, например, необходимо было механику поднять хвост одного из истребителей. Для этого требовалось не менее шести человек, а на аэродроме как раз людей было мало. Механик сетовал, что у него задерживается работа. Оказавшийся поблизости Симченко спросил:

— Этот, что ли, хвост поднять?

— Ну, этот, — машинально ответил механик, занятый своим делом и не придавая значения словам Лешки. А тот подошел к хвосту самолета и поднял его.

— Ну, смотри, чего тебе там надо.

Ошеломленный механик не мог произнести ни слова.

После этого случая на Лешку приходили смотреть, как на чудо. Он добродушно посмеивался. А как-то на нем со всех сторон повисло четверо летчиков. С этой «гроздью» Леша прошел через аэродром.

Были и другие события в летной судьбе Симченко. Помню, приказали мне срочно подняться в воздух на разведку. Бродинский, мой ведомый, был на другом задании, и я взял с собой Лешу. Мы пошли прямым курсом на станцию Видзипур — важный коммуникационный узел противника. Прячась за облаками, мы благополучно сфотографировали цель и пошли обратно. До этого момента Симченко вел себя хорошо, но, когда мы проходили линию фронта, я пошел на снижение, а он по ошибке ушел вверх, в облака.

Я хотел дождаться его и делал круг за кругом, но Леша не появлялся и на мои радиовызовы не откликался. После тридцатиминутных поисков мне пришлось идти на аэродром одному, так как кончалось горючее. У Леши же, видимо, еще был запас горючего. С тяжелым чувством я приземлился. Симченко все не было. Командир полка так посмотрел на меня, что я готов был провалиться в преисподнюю.

— Симченко где-то сделал вынужденную, — сказал Армашов, взглянув на часы и ни к кому не обращаясь. — У него кончилось горючее.

Словно в опровержение его слов послышался рокот мотора, и над аэродромом показался самолет Леши. Я чуть не задохнулся от радости. Вернулся, жив Лешка! Вместе с другими я побежал к его самолету.

Из кабины показалось смущенное Лешкино лицо. Десятки рук вцепились в его огромные плечи, и Лешку буквально вытащили из машины. Мы, ничего не понимая, смотрели на гиганта-летчика: он до самого пояса был мокрый. А когда стащили шлемофон, то увидели, что и волосы слиплись от влаги.

— Где вы летали, что с вами? — спросил командир полка.

Симченко виновато молчал, сопел и смотрел исподлобья. Вид у него был какой-то ошалелый. Мы все невольно заулыбались. Я не удержался и крикнул:

— Ну где тебя черт носил?

— Да понимаете, попал в облака, как в молоко. Только вышел из них, как вдруг по мне зенитки стали палить. Ну, я от них в сторону — и вышел к Видзипуру, а потом оказался у Пинска. Черт знает, как эти города близко друг от друга… — Рассказ Симченко то и дело прерывался могучими взрывами хохота.

А произошло вот что. Попав на линию фронта, Симченко бежал от огня и совершил огромный перелет. От Пинска он долетел до Ковеля и только там понял, где находится и куда надо лететь. Чтобы лучше ориентироваться, он даже открыл фонарь — верхнюю застекленную часть кабины — и тут попал в полосу дождя, который основательно его освежил. Снял Симченко и шлемофон, а надел его только перед посадкой. Прилетел на последней капле горючего.

В этом полете, который, конечно, был нарушением всякой дисциплины, Симченко показал себя незаурядным летчиком и сразу же включился в большую боевую жизнь. Вскоре он стал одним из лучших летчиков нашей эскадрильи.

Вперед, на запад!

Снова начались жаркие воздушные бои. Мы поддерживали наши наземные части, которые стремительными ударами освободили Ковель, форсировали реку Западный Буг и выбили фашистов из города Хелм. Гитлеровцы безудержно покатились к Висле и только тут, закрепившись на заранее подготовленных позициях, стали обороняться. Разворачивались бои за Сандомирский и Предваршавский плацдармы. Мы меняем свои аэродромы: Черторыск, Ковель.

Немецкая авиация, получив подкрепление, сражалась с ожесточением, но это было ожесточение погибающего. Уже не веря больше обещаниям своих главарей, гитлеровцы старались унести вместе с собой в могилу как можно больше людей. Психология подлецов!..

Мой счет мести растет: сто двадцать боевых вылетов и девять сбитых фашистских самолетов, не считая тех, которые я уничтожил в коллективных боях.

В день приходилось вылетать по пять-шесть раз, а иногда и больше. Мы так уставали, что после последнего полета уже не могли сами вылезти из кабины и освободиться от парашюта — нам помогали механики. После этого мы еще несколько минут

лежали под крыльями, отдыхали, набирались сил, чтобы добрести до столовой и койки.

Наши гимнастерки потемнели от грязи, погоны давно потеряли свой первоначальный цвет, а лица стали до того темными, что нас в шутку звали неграми.

Но никто из нас ни разу не сказал о своей усталости, о том, что ему нужен отдых. Да разве могли появиться подобные мысли! Сознание приближающейся победы поддерживало нас. Кроме того, мы же были коммунистами, по нас равнялись, у нас учились молодые летчики.

Наша армия гнала врага. Мы снова и снова меняли аэродромы. И вот уже Польша, Хелм, Люблин. Нас охватывает радость и боль. Радость от сознания того, что освобождена вся наша территория, что больше враг не топчет нашу землю, и боль при виде очень тяжелой жизни простого польского народа. Я никогда не видел такой нищеты, такого убожества жилищ. В панской Польше, в Польше буржуазной, простые люди нещадно эксплуатировались, в Польше оккупированной они были сведены до положения рабочего скота.

С благодарностью, со слезами радости на глазах поляки встречали нас, встречали каждое наше дружеское слово.

Бросалось в глаза, что польские крестьяне жили как-то обособленно, отдельно, каждый сам по себе. Ничего общего у них не было. Я несколько раз пытался заговорить с хозяином дома, где мы разместились. Он охотно говорил о себе, но о жизни других просто ничего не знал. Это был еще сравнительно молодой крестьянин, но какой-то забитый, пришибленный. От немцев он припрятал немного необмолоченной пшеницы, и в один из нелетных дней мы помогли ему цепами обмолотить ее. Когда мы начинали разговор о комбайнах и колхозах, он внимательно слушал, но смотрел на нас с испугом и недоверчивостью.

Наша дружба с местным населением крепла. А враг в этот период перешел к подлым диверсионным методам. Первым сигналом послужил случай со старшим лейтенантом Лобастовым. Возвращаясь с тренировочного полета, в котором он занимался с молодым летчиком, Лобастов стал производить посадку по всем правилам. После четвертого разворота выпустил шасси. Когда до земли оставалось двести метров, самолет Лобастова неожиданно вспыхнул. Летчику ничего не оставалось делать, как выпрыгнуть из машины. Но высота была всего двести метров!

Лобастов показал себя настоящим мастером-парашютистом: он покинул самолет и благополучно приземлился. У него были слегка обожжены лицо и руки.

А самолет упал на берег реки и ушел в мягкий грунт. Пожар на нем прекратился. Мы коллективными усилиями извлекли машину, ее осмотрела специальная комиссия. Оказалось, что на самолете была закрыта заглушкой, сделанной из медного пятака, труба нитрогаза, отчего сильно накалился проходивший рядом бензопровод и произошло воспламенение бензина.

Как же заглушка могла попасть в трубу нитрогаза? Не оставили же ее на заводе во время сборки самолета? Лобастов много летал на этой машине. Значит, это сделано у нас на аэродроме? Кем? Установить сразу не удалось, а тем временем стало известно, что в других частях на самолетах были обнаружены специальные немецкие мины, которые взрывались, когда машины находились в полете. Несколько самолетов от этого погибло.

Наша бдительность возросла. Мы стали тщательнее оберегать машины, и больше подобных происшествий в нашем полку не случалось. Только спустя много времени был все-таки разоблачен враг и понес заслуженное наказание...

Еще более сильным пламенем вспыхнула в нас ненависть к фашистам в тот миг, когда, находясь в районе города Люблина, мы услышали голос командира эскадрильи Лобастова:

— Под нами Майданек!

Я помню, как мурашки пробежали по моему телу. Под нами проплывал фашистский лагерь смерти — длинные грязные бараки, окруженные колючей проволокой. Сколько тысяч людей было истерзано, замучено, сожжено здесь! Сколько крови впитала в себя земля, сколько стонов слышала она! По примеру командира мы качнули крыльями над Майданеком, чтя память погибших.

На другой день побывали в Майданеке. Мы молча осмотрели бараки, в которых томились в ожидании лютой смерти люди; мы видели тюки женских волос, груды детской, мужской, женской обуви...

Как потемнели лица моих товарищей, какой яростью горели их глаза! Я понимал их чувства, угадывал их мысли, потому что о том же думал и сам: «Никакой пощады врагу, потерявшему человеческий облик! Смерть создателям Майданека и Освенцима! Отомстим за пепел человеческий, устилающий землю вокруг нас!»

На берегах Вислы закипели кровопролитные затяжные бои. Они шли и на земле и в воздухе. Фашисты цеплялись за каждый бугорок, за каждый кустик, зарывались в ямы, прятались в свои стальные «крабы» — металлические передвижные доты на одного-трех человек. В воздухе фрицы использовали каждое облачко,

непрерывно меняли свои приемы, дрались с отчаянием. Недалеко за их спиной уже была Германия, и они боялись нашего прихода. Фашисты судили по себе и были уверены, что советские воины станут так же бесчинствовать на германской земле, как они на нашей.

Немцы во что бы то ни стало пытались очистить от наших войск Сандомирский и Предваршавский плацдармы, но это им не удавалось. Наша штурмовая авиация «обрабатывала» фашистов, а мы оберегали своих летчиков от немецких истребителей, которые рвались к штурмовикам, как сумасшедшие.

Наш полк разместился на убранном поле вблизи какого-то графского имения. К имению вела дорога, обсаженная яблонями, под ними мы маскировали самолеты. Когда запускали моторы, на нас буквально сыпался яблочный дождь. Спелые плоды стучали по плоскостям, попадали в кабины. Много у нас по этому поводу было шуток. Вылетая на задание, мы сначала проходили низко над передним краем наших войск. Солдаты приветствовали нас, подбрасывали фуражки, пилотки, размахивали автоматами, а мы им отвечали покачиванием крыльев. Когда же мы появлялись над немецкими окопами, там поднималась паника. Фашисты прятались, забивались в щели, и лишь немногие пытались вести огонь.

Помню, как-то мы громили колонну автомашин с боеприпасами. Многие машины горели, некоторые старались удрать, свернув с дороги. Но их настигали наши снаряды. Машины взрывались, разлетались в щепки. Гитлеровцы разбегались, кто куда мог. Вдруг совершенно неожиданно с нескольких машин заработали зенитки. Хотя они были малокалиберные, но огонь вели такой прицельный, что нам пришлось остерегаться. Только после нескольких заходов удалось заставить их замолчать.

Вернувшись из полета, мы с Бродинским решили поближе познакомиться с графской жизнью.

— Никогда не видал живого графа, — шутил Витя.— Он почему-то представляется мне высоким, тощим и обязательно с моноклем в глазу.

И вот мы возле узорчатых чугунных ворот под красивой кирпичной аркой. От нее идет широкая, обсаженная деревьями и декоративным кустарником аллея прямо к подъезду белоколонного двухэтажного дома. Широкие ступени ведут к зеркальным дверям. Слева от дома раскинулся большой фруктовый сад. Деревья буквально усыпаны спелыми грушами, яблоками, сливами; справа огромный фонтан со скульптурой Нептуна, держащего на плече рог. Из него, очевидно, должна

была бить струя воды, но сейчас в роге желтели занесенные ветром листья.

У подъезда, как огромный торт, — клумба с яркими цветами. Бродинский со злостью заметил:

— Вот это да! Живут графы! Слушай, Вовка, а сколько надо людей, чтобы все это обработать, за всем ухаживать? Или граф с графиней сами в фартучках здесь трудятся, а?

Я молчал и думал. Везде, где прошла война, остались развалины, запустение, пожарища. Тут же ничего не напоминало о войне. Видно, граф пришелся по душе гитлеровцам, если они так оберегали это имение, а хозяева имели возможность в таком образцовом порядке содержать его.

Я сказал об этом Бродинскому. Он выругался:

— Знаешь, к черту изучение графской жизни! Айда в полк, а то меня стошнит от этого райского уголка. Так и кажется теперь, что эти цветы растут на могилах наших людей. Пошли!

Он первый направился к выходу. А я не успел сделать и шага, как меня окликнул девичий голос:

— Пан офицер, пан офицер!

Мы обернулись. К нам спешила девушка лет двадцати, в таком нарядном шелковом платье, каких я не видел на наших девушках уже несколько лет. Волосы были уложены в замысловатую прическу. С холеного лица смотрели продолговатые темные глаза. Девушка говорила с легким акцентом:

— Пан офицер, графиня просит вас на чашку кофе.

— Благодарим вас, но мы очень спешим, — ответил я.

— Графиня просит панов русских офицеров сказать своим солдатам не брать яблок и груш в саду. — Тонкой рукой девушка указала в сторону сада и добавила: — Сломана веточка...

— Хорошо, — сердито перебил ее Бродинский, — целы будут ваши яблоки. Пошли, Вовка!

Он резко повернулся и зашагал к воротам. Я молча кивнул полячке и поспешил за ним. Бродинский долго молчал. Я никогда не видел его таким мрачным, задумчивым и, положив ему руку на плечо, пошутил:

— Видно, эта панночка надкусила твое сердце, как яблочко.

— Иди ты! — сбросил Бродинский с плеча мою руку. — Ты хорошо разглядел эту... мимозу? Ее война не тронула. Ее немцы оберегали. Ишь, в каком платьице! А на руках маникюр. Наверное, фашистские офицеры целовали с почтением эту ручку, — у Бродинского перехватило дыхание. — А как фрицы поступали с нашими, советскими девушками? А как живут наши девчата все годы войны, во что одеты?

Вернувшись в полк, я доложил Армашову о нашей прогулке. Он пожурил нас за визит к графам, а по полку отдал приказ не трогать в саду фруктов — все имение будет теперь принадлежать польскому народу.

Так и не состоялось наше знакомство с представителями «великосветского общества». Узнали мы только, что молодой граф служил в эсесовских войсках и все имение во время войны находилось под покровительством гитлеровских наместников. Позднее в этом имении создали дом отдыха для трудящихся...

Через несколько дней я был направлен за получением новых самолетов в город Н. Там на аэродроме кто-то вдруг крепко обхватил меня сзади и так сжал, что я завопил:

— Какой это медведь кости мне ломает?

— Узнаешь? — Меня отпустили, я обернулся и увидел Пронина. Того самого Петра Пронина, который еще в Хабаровске на осоавиахимовском аэродроме поразил наше юношеское воображение своим «летным» видом, а потом порекомендовал нам вступить в аэроклуб. Как это давно было!

— Выздоровел? — Я был искренне рад возвращению Пронина в строй, — он же, так сказать, мой крестный отец в авиации.

— Здоров, как дуб! — Пронин развернул плечи. — Скорей бы за штурвал, скорей бы в бой. Ведь летают еще мои фрицы, ждут меня.

— Ждут, — кивнул я. — Твоих мы не трогали.

— Понимаешь, — понизил голос Петр, — очень хочется в свой полк. Пока лежал в госпитале, все время о вас, чертях, мечтал, как будем вместе бить немцев над их территорией.

— Так в чем дело?

— А как к вам добраться? Меня могут в другой полк послать.

Затруднение быстро было разрешено. Я посадил или, вернее, засунул Пронина в фюзеляж истребителя и с «пассажиром» поднялся в воздух.

Я — член великой партии

Назад я возвращался в приподнятом настроении: я вел хорошее пополнение родной части — новые самолеты более совершенной конструкции и новый летный состав. Конечно, с новичками предстояло порядочно поработать. Мне не терпелось увидеться с боевыми товарищами, рассказать о том, что я видел и слышал в тылу, а главное — узнать новости полка.

Первая новость, которую я услышал, была печальной. Наш Лобастов выбросился на парашюте близ Варшавы. Он приземлился, не преследуемый врагом. Все были уверены, что

Лобастов вернется, но проходили дни за днями, а о нем так ничего и не слышали. Лобастов исчез.

Наша эскадрилья осталась без командира. Летчики загрустили. Ведь мы по-настоящему любили его, любили так, как могут любить люди, встречающиеся со смертью по нескольку раз в день. Это была для нас одна из самых тяжелых утрат. Что произошло с самолетом Лобастова, мы тоже не выяснили.

Боевые дела заглушили боль потери. На земле нашей эскадрильей стал командовать адъютант эскадрильи, а в воздухе — я. На мои плечи легли ответственные командирские обязанности. Было трудно, но в то же время новое положение дисциплинировало и как бы давало свежие силы для борьбы с врагом. Своими товарищами я был вполне доволен, только вот Вано Исмахамбетов доставлял мне массу тревог, а себе — неприятностей из-за своего горячего характера. Ненависть к фашистам заставляла его забывать об опасности, и он сразу ввязывался в бой, не считаясь ни с количеством вражеских машин, ни с обстановкой, ни со многими другими обстоятельствами. Правда, он прекрасно стрелял в воздухе, и это несколько смягчало наказания, которые он нес за свое поведение в бою.

Помню, однажды нам пришлось сопровождать самолеты «Ил-2». Шли они на очень ответственную операцию, и мы не смели ни при каких обстоятельствах даже отходить от них. Как назло, во время полета на параллельных курсах показались немецкие «лапотники». Мы видели друг друга. Немцы не проявили никакого желания ввязываться в бой, что было нам на руку. Но тут Вано снова «проявил» себя. Он все же отвернул свою машину в сторону фрицев и дал на довольно большом расстоянии длинную очередь. Один немецкий самолет сразу задымил и пошел к земле. Вано дал вторую очередь — и второй гитлеровский ворон последовал за первым. Исмахамбетов вернулся на свое место в строю, а остальные вражеские самолеты исчезли так стремительно, точно испарились. Внизу, на земле, ярко вспыхнули два огонька. Это догорали трофеи Вано.

Как я должен был поступить в таком случае? Принял «соломоново» решение: за меткую стрельбу и находчивость объявил Вано благодарность, а за нарушение строя по охране «илов» — выговор. Вано стоял передо мной по стойке смирно, но я видел, как от обиды у него потемнели глаза, губы сжались, дрогнули тонкие крылья носа. С этого дня в наших отношениях появилась некоторая холодность. Мне было жаль терять дружбу Вано, но служба и долг перед Родиной — превыше всего.

Не раз я задавал себе вопрос, правильно ли поступаю в том

или ином случае, так ли должен поступать командир. Что-то тревожило меня, не давало покоя. Правильность моего поведения как командира подтвердил неожиданный разговор в политотделе дивизии, куда я был вызван в те дни.

Здесь мне вручили партбилет! Я держал в руках алую книжечку — самый дорогой для советского человека документ, свидетельство его принадлежности к великой партии Ленина.

Начальник политотдела беседовал со мной, интересовался, как я осваиваюсь со своей командирской должностью, и неожиданно сказал:

— Я знаю, что вам тяжело наказывать своих товарищей. Но помните: вы — командир, вы — коммунист, и дисциплина прежде всего. Не принимайте близко к сердцу обиду Исмахамбетова...

— Да я... — начал было я что-то объяснять, но начальник политотдела остановил меня:

— Я все знаю и понимаю вас. Вы поступили правильно, а вашему другу Вано надо подумать о своем поведении в воздухе...

Бывают дни, богатые радостными событиями. Таким был и этот день. Не успел я вернуться в эскадрилью, как пришла весть, что нашей дивизии присвоено звание Ковельской и она награждена орденом Красного Знамени. Как ликовали все мы! Значит, наши боевые дела замечены и очень высоко оценены. Ну как же не радоваться этому, не чувствовать прилива новых сил!

И третье событие в этот же день: мне вручили второй орден Красного Знамени. Вместе со мной получают ордена Бродинский, Хохряков, Исмахамбетов, Чистов. И только один орден остался лежать в коробке — орден Лобастова. Позднее его переслали родным погибшего...

На следующее утро снова начались полеты. Их открыли мы с Витей Бродинским. Мы шли к Варшаве, видели ее страшные руины, тянущиеся к небу столбы дыма. Трудно было даже представить, что тут, на берегу Вислы, стоял город, большой и прекрасный. Но мы верили: люди, любящие жизнь, возродят Варшаву, сделают ее еще красивее. А тем, кто погиб под руинами, кто сражался за освобождение города, поставят памятник.

Мы проходим над одной из железнодорожных станций вблизи Варшавы, рассматриваем действующие дороги. И вдруг я слышу голос Вити:

— Справа четыре «фоккера»!

Осматриваюсь. Фрицы несутся к нам, обрадованные своим численным превосходством. Нам поздно уходить. Ну что ж, будем драться! У нас некоторое преимущество: мы выше «фоккеров», да и скорость приличная. Я разворачиваю свою машину и иду в лобовую атаку со снижением. Даю прицельную очередь по

среднему фашисту — и четыре красных шара проходят чуть выше его плоскости. Хорошо! Дожимаю ручку, и два снаряда входят прямо в лоб «фоккера». Он взрывается. Обломки тучей проносятся мимо меня. Они могли доставить мне большие неприятности, но все обошлось.

Немцы не обескуражены молниеносным исчезновением одной своей машины и тоже лезут вверх. Я захожу одному в хвост, но он замечает мой маневр, не дает времени на прицеливание, переваливается через крыло и уходит вниз. Мне ясна его тактика: фриц рассчитывает, что либо я пойду за ним и тогда меня могут подбить другие самолеты, или же он, оставшись на свободе, может нам напакостить. Нет, гад, не обманешь! Я кричу Вите:

— Бей его! Я этих задержу!

Виктор падает за фрицем, а тот, уверенный, что обманул нас, начинает вновь набирать высоту и подставляет себя под прицел Бродинского, который заходит к нему снизу на большой скорости. Витя открывает огонь в тот момент, когда на него коршуном обрушиваются два «фоккера». Но я не даю им сбить товарища — бью из пулеметов и пушки по ведущему. Снаряды проходят выше вражеской машины, однако «психическая атака» выиграна: «фоккеры» испуганно бросаются вниз, а следом за ними, дымя, переворачиваясь с крыла на крыло, падает их собрат, расстрелянный Бродинским.

Небо очищено. У нас отличное настроение. Я кричу:

— Молодец, Витя! По одному в нашу пользу.

Он что-то отвечает, но из-за разрядов я не слышу его. Веду самолет над железной дорогой. По ней, выбрасывая клубы дыма, паровоз тянет длинный состав с нашими войсками и техникой. Это накапливаются силы для штурма Варшавы.

Мы продолжаем разведочный полет и поворачиваем на юг в направлении Сандомира, выходим к Висле и здесь встречаем кучевые облака. Пользуемся ими как маскировкой. Это помогает нам заметить пару «фоккеров», которые пробираются на нашу территорию по обрезу облачности. Что ж, как говорится, на охотника и зверь бежит.

Я немедленно ухожу в облака, пока нас не заметили фрицы, Витя за мной, и мы спешим наперерез стервятникам. Расчет наш был удивительно точным: выскочив из облаков, мы оказываемся выше и сзади «фоккеров». «Эх, если бы видел «батя», как мы сделали маневр», — мелькает у меня хвастливая мысль, и я иду в атаку. Немецкие летчики уже заметили нас, и завязался бой. Мы длинными очередями разбили строй вражеских машин. Один фашист перед нами, другой сзади. Я подхожу к первому, но тот уходит в облака, а второй атакует Виктора. Я кричу товарищу:

— Уходи под меня!

Однако Виктор портит все дело — он скрывается в облаках, а за ним «фоккер». Мне ничего не остается делать, как последовать за ними. «Фоккер», видя, что я прочно сижу на его хвосте и вот-вот открою огонь, делает резкий поворот и уходит в сторону своей территории. Я отлично вижу его борт и даю очередь, но пулемет выпускает только две пули и замолкает. Пушка тоже молчит. Кончились боеприпасы! Поневоле приходится идти на свой аэродром. Разворачиваю самолет и вызываю Бродинского, но он не откликается. Повторяю вызов — снова молчание. Где же Витя? Или с ним что-нибудь случилось? «Вот тебе и удачный маневр, — издеваюсь я над собой. — Вот тебе и ловкий расчет. Будешь знать, как раньше времени предвкушать успех и хвастаться».

Я выскакиваю опять к Висле, но уже на высоте пятисот метров. Бродинского нигде нет, а у меня такое ощущение, как будто бы на меня кто-то смотрит. Я разворачиваю машину на девяносто градусов с большим креном и вижу, что ко мне снизу подкрадывается «фоккер». Вот так да! Чуть не изжарился, как рябчик!

Бросаю самолет навстречу немцу, но явно в хвост не захожу, чтобы он не догадался, что у меня нет боеприпасов. Начинаем крутиться, все время набираем высоту. Я стараюсь держать такое положение, чтобы ни ему, ни мне, если бы даже у меня были патроны и снаряды, не было смысла открывать огонь. На что я надеялся в этой смертельной игре в кошки-мышки? На то, что зайдем в облака и тут я смогу удрать! Какое постыдное слово! Но оно очень точно передает то, что мне надо было сделать. Идти на таран не было смысла. Так погиб бы и я и только один враг, а ведь я еще собью не одного стервятника.

Вот и облака близко. Еще два-три глубоких виража. В этот момент слышу голос:

— Кто там на «яке»? Я — «Дерево-пять»!

— Я — Некрасов! — отвечаю я открытым текстом.

— Чего ты с ним крутишься? Бей его! — слышу я предложение.

— А каким его дьяволом бить?! — злюсь я.

В тот же миг заработали наши зенитки. Мне стало жарче, чем когда я дрался с немцем без их помощи. Зенитки старались бить по «фоккеру», а снаряды, черт их побери, ложились слишком близко ко мне. Того и гляди, что вот-вот срубят свои же.

Иду на рискованный маневр. Запускаю фрица себе в хвост, он обрадованно пристраивается, и в тот неуловимый момент, когда он должен был открыть по мне прицельный огонь, я меняю

положение своей машины. Фриц вошел в азарт. Он из кожи лезет, чтобы снова взять меня на прицел. Так-то я ему и дамся! Теперь мне надо выиграть расстояние. Оно нарастает, и тут уже по-настоящему начинают помогать зенитки. Снаряды рвутся ближе к фрицу. Он теряется от такого резкого изменения положения и пытается уйти вправо. Я оказываюсь позади него. Мой винт у самого хвоста «фоккера».

Немец окончательно сбит с толку. Мы с большой скоростью несемся к земле. «Фоккер» впереди меня и идет с сильным правым скольжением. Я вижу физиономию фашиста, уставившегося на меня. Он в явной панике.

«Можешь читать по себе панихиду, гад», — думаю я и, переводя мотор на малые обороты, отстаю от «фоккера». Убегая от меня, немец был уверен, что я вот-вот открою ему огонь в спину, и не заметил, что земля совсем близко. Уже в ста пятидесяти метрах от земли он пытался быстро перевести самолет в набор высоты, но забыл убрать педаль правой ногой. Самолет резко клюет носом, переваливается через крыло, и... Удар о землю, взрыв, огонь, пыль! Фашист перестал существовать!

Я иду без газа, плавно вывожу самолет, прохожу над самым лесом и только тогда даю газ. Мне совсем не улыбается участь фрица.

И вот я уже на своем аэродроме и стою перед командиром дивизии, который с улыбкой говорит:

— Подтверждаю, что вы вогнали фашиста живьем в землю. Объявляю благодарность!

Я отвечаю по уставу, а сам думаю: «Эх, знали бы вы, товарищ полковник, как я проворонил двух «фоккеров», как хвалился заранее».

Но я, конечно, об этом не говорю и спешу к Виктору, который уже давно дома. Встречает он меня с опущенной головой, а лицо у него так и пылает.

— Почему полез в облака? — набрасываюсь я на него. — Какого черта искал там?

Начинаю объяснять, что быть подо мной ему было бы лучше, что мы были бы вместе, а если я разрешил ему одному бить фрица под Варшавой, то только потому, что я смотрел за ним и был готов в любую минуту прийти на помощь.

— Гонялся за тобой «фоккер» в облаках, а ты от него уходил?

— Да, — кивает Витя. — Извини, я...

— Ладно, — обрываю я его грубовато, чтобы скрыть жалость, и уже спокойнее спрашиваю: — Что нового?

— «Батя» меня отругал, — сообщает еще тише Бродинский. —

Бросил, мол, в бою командира.

— Ну, об этом хватит. Скажи, не будешь больше драпать?

— Нет! — горячо восклицает Витя. — Нет, Владимир, нет!

— Верю, знаю, — останавливаю я его и направляюсь к командиру полка, но меня останавливает механик Руднев:

— Сколько звездочек рисовать на вашем самолете? Командир дивизии говорит две, а Бродинский — одну.

— Две, как сказал комдив, — улыбнулся я и посмотрел на Виктора. — А вот ему — только одну!

Бродинский понял, о чем речь.

Доложив командиру полка о результатах полета, я собирался уже уйти, но он задержал меня:

— Комдив доволен тобой, а вот ведомого надо наказать.

— Не надо, товарищ майор, — попросил я. — Он и так все понял. Здесь была не трусость, а...

Я запнулся, подыскивая точное слово, но комполка кивнул:

— Пусть будет по-твоему. А теперь вот почитай приказ. Ты утвержден командиром эскадрильи.

Было приятно узнать, что я уже официально утвержден в должности, которую пока исполнял временно.

Дни были заполнены работой до отказа. То приучали к боевой обстановке молодых летчиков, то сами не вылезали из боев, и. надо сказать, почти всегда успешных. Началась поистине полоса удач — мы все чаще сбивали фашистов, а сами не несли потерь.

Летчики других эскадрилий нас всегда искренне поздравляли — таких было большинство; некоторые подшучивали, но добродушно; но были и такие, правда, единицы, которые сомневались в правдивости наших докладов. А ведь не всегда можно было позднее сфотографировать сбитый самолет и, так сказать, запротоколировать трофей по всем правилам конторского мастерства. Эти разговорчики, естественно, раздражали. Разве человеку не обидно, когда ему не верят, сомневаются в его боевом успехе?

Особенно в таких насмешках над нами усердствовал заместитель командира второй эскадрильи старший лейтенант Марков. Он относился к числу тех немногих людей, которым, очевидно, доставляло удовольствие портить другим настроение.

Я не выдержал и сказал как-то командиру полка:

— Старший лейтенант доходит до издевательства над летчиками моей эскадрильи. Он, видите ли, удивляется, почему это мы, вылетая на линию фронта, обязательно встречаем «фоккеров». Причем это говорится так, будто мы лжем. И ему многие верят. Ведь у него двести боевых вылетов, сто восемьдесят

он налетал до прихода к нам.

Армашов, который давно с неодобрением следил за Марковым, внимательно слушал меня. Он понимал настроение и мое и товарищей. Для истребителей нет ничего обиднее, когда берут под сомнение их боевую работу. Командиру не нравилась такая вредная, обывательская атмосфера. Это мешало нам, нервировало летчиков.

— Марков утверждает, — продолжал я, — что он сам очень редко встречает «фоккеров». Может быть, ему их показать?

— Что ж, это идея, — неожиданно для меня согласился Армашов. — Не люблю мышиной возни в отношениях между людьми. Делом, только делом проверяются люди! А разглагольствовать легче всего...

Вскоре после этого разговора я с восьмеркой истребителей прикрывал штурмовую группу Героя Советского Союза Германа. Перейдя Вислу, они нырнули вниз и начали обрабатывать немцев. Сразу же над нами появились восемь «фоккеров». Немцы пытались прорваться к «горбатым», но мы связывали их действия, и началась драка. Я срезал одного «фоккера», Симченко и подоспевшие уже отштурмовавшиеся «горбатые» коллективно сбили второго. Немцы стремительно переменили тактику, но это их не спасло: еще два «фоккера» задымили и пошли к земле. Вернувшись на свой аэродром, я собрал летчиков, участвовавших в бою, и, расспросив их, составил себе схему боя. На всякий случай послал одного товарища к штурмовикам за их схемой.

Когда я после доклада командиру полка вышел с КП, меня окружили взволнованные товарищи. Они наперебой говорили:

— Марков утверждает, что мы не сбивали самолетов. Он говорит, что три раза сегодня поднимался в воздух и не видел «фоккеров».

— Что ему надо?! Что ему надо! — кипятился Даватьян. — Он говорит, что мы — летчики для докладных и праздничных рапортов. Ай-ай, плохой человек!

— Довольно! — приказал я. — Раскудахтались! Прикажите, чтобы подготовили мой самолет! Я сейчас вылетаю.

Я вернулся к командиру полка и попросил разрешения сходить «на охоту» в паре с Марковым.

Командир полка лукаво посмотрел на меня и вызвал Маркова:

— Вы согласны слетать «на охоту» с Некрасовым?

Старший лейтенант от неожиданного предложения просто опешил. Он переводил взгляд то на Армашова, то на меня с каким-то растерянным видом. Отступать же он не мог, не позволяла гордость, и мы пошли на аэродром. Шли под

взглядами почти всего личного состава.

В присутствии летчиков, тут же у самолетов, мы договорились с Марковым, как будем летать. Я предложил свои услуги как ведущий до обнаружения «фоккеров», а затем буду прикрывать Маркова, то есть стану ведомым. Летчики поддержали меня, и Марков согласился.

В небо взлетели зеленые ракеты — и мы в воздухе. День хороший, ясный. Голубизна неба какая-то нежная, чуть белесая. Такое небо вызывает мирное, лирическое настроение, а тут надо воевать. Но эта секундная слабость прошла, и я осмотрел воздух. Он был чист. «А что если мы не встретим «фоккеров»? Тогда вся болтовня Маркова получит видимость правды», — подумал я и решил несколько схитрить.

Немцы в последнее время никогда не вылетали, если мы находились над линией фронта. В этот период войны они любили сражаться только над своей территорией и появлялись в воздухе лишь тогда, когда мы уходили с линии фронта. Я прошелся над немецким передним краем на высоте восьмисот метров, а затем ушел к себе и набрал высоту в две с половиной тысячи метров, ведя разговор с наземной радиостанцией наведения, которая расположилась на берегу Вислы. Я смотрел на ленту реки. Сейчас она разделяла два мира, два лагеря: лагерь смерти, рабства — и лагерь свободы и жизни. Скоро второй лагерь перешагнет Вислу и пойдет к берегам Балтики.

Прошло еще минут двадцать — и ниже нас на восемьсот метров появилась четверка вражеских истребителей. Я указал на них Маркову и перешел на положение ведомого. И тут произошло то, что просто ошеломило меня: выйдя вперед, Марков с расстояния в два километра пошел на немцев в атаку, сразу же открыв огонь. Более глупого, бессмысленного поступка у истребителей мне еще не приходилось видеть. Марков этим только привлек к себе внимание, выдал себя, потерял преимущество внезапности нападения. Трасса его огня ушла дугой и, конечно, не достигла цели. Марков сделал переворот и стал уходить на нашу территорию. Я по радио крикнул ему, пикируя на «фоккеров»:

— Куда вы? Я атакую! Прикрывайте!

Оказавшись в двухстах метрах от немцев, я пошел в атаку. Маркова нигде не было видно. Немцы заметили меня только на расстоянии полсотни метров, но к этому времени один «фоккер» с разбитым хвостом (в него угодил мой снаряд) уже устремился к земле. Оставшиеся фашисты сделали левый разворот, я — противоположный, и между нами образовался большой разрыв. Осмотрелся. Маркова по-прежнему нигде не было. С наземной

станции, где в это время оказался командир нашей дивизии, мне приказали:

— Тридцатый! Возвращайтесь домой! Хватит одного! Я снизился и пошел на аэродром. «Фоккеры» отстали. Я приземлился и с удивлением увидел, что самолета Маркова нет. «Куда же он девался?»

Марков появился минут через десять. Выбравшись из кабины на плоскость и потрясая кулаками, он во все горло кричал, что я трус, что я покинул его во время боя! Чего-чего, а такого нахальства я не ожидал! У меня даже не хватило сил на возмущение. В это время на аэродроме на «По-2» приземлился командир дивизии, который видел наш бой. Комдив ушел на КП, куда вскоре вызвали меня и Маркова.

— Кто первый атаковал фоккеров? — спросил комдив.

— Я, товарищ полковник, — гордо ответил Марков.

— На расстоянии двух километров открыли огонь? — полковник был зол. — Как же вы могли так поступить? А после атаки ушли, оторвавшись от своего ведомого и забыв о нем. И куда ушли? По Висле на юг! Скажите спасибо, что мы вас по радио вернули, а то, возможно, горели бы вы сейчас в обломках где-нибудь у немцев. Эх вы! Идите! Хвастун! И прекратите болтовню!

Строго отчитал комдив нашего Маркова и вкатил ему выговор. К этому времени нам доставили схему боя от штурмовиков, и тут уж позорное поведение Маркова перед всеми предстало наглядно. В некрасивом положении он оказался. Но с тех пор потерял свою спесь и стал тише воды, ниже травы.

Горько рассказывать об этом позорном случае, но, к сожалению, и такие были. И у нас находились люди, которые на земле храбрились, а в воздухе вели себя, как самые настоящие трусы. При таких качествах можно было и пятьсот вылетов сделать, а толку-то? Один лишь расход горючего и боеприпасов. Разоблачение Маркова, раскрытие его подлинного лица пошло на пользу всей части: мы еще больше сдружились. Был рад этому и «батя».

...Наша жизнь идет своим чередом. Мы много времени отдаем вводу молодых летчиков в боевой строй. Я и сейчас с удивлением думаю о той воздушной смене. Наступление Советской Армии, уверенность в грядущей победе вызывали у нас такой прилив сил, что молодые летчики гораздо быстрее, чем в свое время мы, осваивались в боевой обстановке.

Хорошие результаты показывают пары Соколов Даватьян и Хохряков - Хроленко. Они уже действуют самостоятельно. Особенно радуемся за Хохрякова и Хроленко, которые побывали

уже во многих боях и обещают стать отличными летчиками-истребителями.

К сожалению, жизнь состоит не из одних приятных и радостных явлений. С тревогой слежу за Петром Прониным: он очень неохотно летает с Исмахамбетовым. Как-то Пронин сказал мне:

— Понимаешь, нельзя полностью доверяться этому парню. Забывает он в бою о товарищах и выкидывает такие трюки, что они до добра не доведут.

Большую тревогу вызывала пара Чистов — Шатохин. Они медленно и как-то неуклюже осваивали все тонкости летного дела. С ними мы занимались больше, чуть ли не круглыми сутками: днем проводили полеты, учебные бои над аэродромом и стрельбы по щитам, а вечером разбирали результаты занятий.

У меня забот прибавилось, и я с завистью смотрел на товарищей, которые играли в городки, сидели за книгами — словом, отдыхали. Мне же приходилось следить, как идет ремонт техники, присутствовать на совещаниях у командира полка, заниматься с молодыми летчиками, проверять службу нарядов...

Но как бы я ни был загружен, а все же всегда находил часок-другой для танцев. Нашими партнершами были веселые польские девушки. Они приносили с собой патефон, и мы так лихо исполняли замысловатые танцы, словно были прирожденными поляками. А когда девушки затягивали песни, мы дружно подхватывали и, конечно, коверкали язык, путали слова, что вызывало взрывы веселого смеха. В эти минуты мы забывали о войне. Молодость брала свое.

Да и дела на фронте шли хорошо. Это мы чувствовали на себе. Вылетая на разведку, на фотографирование позиций врага на западном берегу Вислы, мы реже подвергались зенитному обстрелу. Фрицы уже осторожнее расходовали боеприпасы. И с той и с другой стороны накапливались силы.

На эстонской земле

Приказ о перебазировании. Место назначения еще неизвестно, но по всему определяем, что путь предстоит дальний. Готовимся целую неделю. Перелет открывает передовая команда, а за ней по порядку — штаб, летный эшелон, техсостав.

Маршрут пересекает Барановичи, Минск, Оршу...

...Подходим к Чудскому озеру. Вот оно, озеро русской славы! Где же Вороний Камень, с которого Александр Невский следил за битвой, за разгромом русскими воинами «железной свиньи», псов-рыцарей? Сколько вражеских костей лежит на дне озера! Такая же

судьба ожидает и фашистов, потомков псов-рыцарей!

Настроение у меня приподнятое. Погода прекрасная, небо высокое, чистое. Озеро искрится под солнцем. Я вспоминаю картину «Александр Невский», ее отдельные кадры. Какой замечательный фильм, как он помог многим советским людям в их борьбе с фашистами!.. Иной раз слово писателя, игра артиста, кисть художника оказываются сильнее пушек и пулеметов!

Проходим Псков и вскоре приближаемся к поселку Выру, около которого вдоль опушки леса тянется посадочная площадка. В стороне от нее вижу несколько капониров и стоящие в них самолеты. Но они не нашего полка. «Видимо, уходят, в тыл на отдых и пополнение, — думаю я. — Мы их сменяем». Что ж, друзья, отдыхайте хорошо, набирайтесь сил, а мы продолжим вашу боевую вахту на эстонской земле! Иду на посадку...

Командир полка приказывает побыстрее устраиваться, обживать аэродром, так как можем вылететь на боевые операции в любое время.

На аэродроме идет обычная суматоха, которая бывает при перебазировании части. Садятся все новые и новые машины. Приближается вечер...

На ночлег устроились в небольшом домике. Хозяйка немного понимала по-русски. Это была совершенно седая, но на редкость подвижная, здоровая женщина. За все время, что мы жили здесь, я ни разу не видел, чтобы она отдыхала или сидела сложа руки. В работе она далеко обгоняла свою краснощекую семнадцатилетнюю дочь Эльзу. Девушка эта со светлыми, как лен, волосами по-русски не говорила. Но, несмотря на скудность словаря, мы хорошо понимали друг друга, скоро сдружились и жили мирно. Может быть, еще и потому, что мы часто помогали крестьянкам в их работе. А ведь известно: ничто так не сближает людей, как общий труд.

...Утром поднялись рано и долго в темноте искали столовую. За время войны мы привыкли к тому, что батальон аэродромного обслуживания часто преподносил нам всевозможные сюрпризы — то опаздывал с питанием, то угнетал однообразием меню. Ничего хорошего мы не ожидали и на этот раз и всячески изощрялись в насмешках по поводу работы БАО. Каково же было наше изумление, когда наконец мы нашли нашу столовую и вошли в нее. По правде говоря, мне показалось, что я еще продолжаю спать и вижу прекрасный сон: будто я стою в уютном, со вкусом убранном зале, где все сверкает чистотой и даже на окнах занавески, а молодые девушки-официантки — в кружевных передниках.

Смотрю на товарищей и хохочу: у них очень растерянный,

смешной вид. Наверное, и у меня такой же. Вот так сюрприз! Впервые за все время нашей фронтовой жизни будем питаться в настоящей столовой, очень похожей на ресторан довоенного времени. Будто бы мелочь, а как улучшилось наше настроение. Обстановка подействовала и на аппетит: мы оказали должное внимание искусству поваров и с симпатией говорили о «бороде», как мы звали майора, командира БАО. Этот пожилой и молчаливый человек с окладистой бородой вложил всю свою душу в дело. Отличился он здесь не только организацией прекрасной столовой, но и созданием клуба. Казалось бы, что можно сделать из простого сарая? А «борода» превратил его в уютный уголок: побелены стены, настелен пол, на стенах портреты, лозунги. Все повеселели, шутили: «Так воевать можно». Теперь я понимаю, как до тех пор мы жили, в каком напряжении находились, если эти элементарные вещи так нас всех обрадовали...

В этот день меня ожидала приятная неожиданность. Направляясь к стоянке самолета, я увидел старшего лейтенанта. Шел он прихрамывая, опираясь на трость. Лицо его мне показалось знакомым.

— Лавренков?

— Он самый! — улыбался мой земляк-хабаровчанин.

Мы с ним учились вместе в аэроклубе. Вот так встреча! Я попросил кого-то из техников позвать Петра Пронина, а сам забросал Лавренкова вопросами. Конечно, самым первым был вопрос о том, почему он хромает. В это время подошел Пронин, и мы с ним выслушали удивительную историю, которая может показаться просто невероятной.

Идя как-то с задания на сильно подбитой машине, Лавренков получил от командира приказ оставить самолет, так как садиться на нем было невозможно. Лавренков сделал все, как положено. Создал крен, но промешкал в кабине и выпрыгнул с опозданием, ударился головой о стабилизатор и потерял сознание, не успев открыть парашют на высоте ниже пятисот метров...

Лавренков пришел в себя от боли в ноге и от воды, которой уже стал захлебываться. Он осмотрелся и увидел, что лежит в болоте. Начал выбираться. Это было очень трудно, так как мучила сломанная нога...

Теперь нога у Лавренкова срослась, и он скоро бросит трость.

— Так я читал об этом заметку в «Советском соколе», — вспомнил я. — Вот уж не думал, что герой этой заметки — ты!

— В рубашке родился, — заметил Петя, похлопывая Лавренкова по плечу. — Не каждый, прыгнув с высоты меньше пятисот метров, соберет кости и будет потом об этом спокойно

рассказывать.

Посмеявшись и пошутив, мы расстались, назначив встречу в клубе. Но больше с Лавренковым нам не удалось увидеться — он улетел в тот же день.

Часа через два я, проверив готовность материальной части своей эскадрильи, направился домой. Вхожу во двор и с удивлением вижу такую картину: на крыльце сидит Петя Пронин и вслух читает книжку, а по бокам его пристроились хозяйка с дочкой и с восхищением, с восторгом смотрят летчику в лицо, следят за его губами и слушают, как зачарованные. «Так они же по-русски не понимают, — подумал я. — Что же тут происходит?»

Прислушался. Петя по-немецки читал стихи Гейне. Стихи нравились крестьянкам, и Пронин у них стал пользоваться особым уважением. Впервые в жизни эстонские крестьянкам читал стихи не кто-нибудь, а советский офицер-летчик. Для них это был большой почет.

После обеда товарищи решили пройтись погулять в лес. Меня тоже тянуло побывать среди густых зарослей, которые напомнили бы мне родную дальневосточную тайгу. Как я по ней соскучился, как бы хотел походить с ружьем или просто посидеть у таежного ручья, послушать его неторопливое журчание...

Но эстонский лес ничем тайги не напоминал, хотя по-своему был красив. Запахи сосны, тишина, зелень — все это успокаивало, как-то отдаляло нас от войны, и мы снова почувствовали себя подростками. Неожиданно гулявший с нами Ваня Рудов выхватил пистолет и, бросившись к сосне, выстрелил вверх. Я увидел, как по ветвям метнулся темно-рыжий зверек. Белка!

— Стой! — закричал я Рудову. — Не стреляй! Белку летом не бьют!

Он спрятал пистолет с виноватым видом, а мы стали наблюдать за зверьком. У нас на востоке белка летом черная, а тут — почти красная. Я об этом слышал, но видел впервые. Когда зверек скрылся, мы начали собирать грибы и очень скоро набрали целую гору. Как же донести их до дому? Петя стащил с себя гимнастерку, завязал рукава и ворот. Получился хороший мешок. Заполнив его грибами, мы двинулись назад, неся мешок на палке. В тот вечер мы лакомились жареными грибами, которые нам приготовили в столовой. Но большую часть грибов засолила наша хозяйка.

Другие летчики решили последовать нашему примеру, но начались страдные боевые дни, и грибы были забыты. Мы вылетали по четыре — пять раз в день, а иногда и чаще. Кроме полетов, мы сами готовили самолеты, таскали снаряды, набивали патронами пулеметные ленты, так как основной состав техников

еще не прибыл. Каждый человек был на учете.

Шли обыкновенные воздушные сражения, производилась штурмовка немецких позиций у города Тарту. Здесь гитлеровцы создали мощную линию обороны вдоль железнодорожной линии Тарту — Валга, и нашим штурмовикам пришлось основательно поработать.

Как-то в эти дни Бродинский, Хохряков, Хроленко и я, находясь в обычном разведывательном полете, заметили пару «фоккеров». Наша группа шла со стороны солнца, и гитлеровцы нас не видели. Я по радио предупредил Хохрякова и Хроленко, чтобы они внимательно следили за мной, а сами в драку не вмешивались.

У нас было двойное преимущество: и солнце, и то, что мы находились выше фашистов. Это я и использовал, пойдя в атаку со снижением. Когда до «фоккеров» оставалось метров сорок, я с одной очереди расстрелял ведомого фрица. Ведущий же ни на выручку своему товарищу не пошел, ни в бой не вступил, а бросился удирать, войдя в резкое пике. За ним, с разрешения Бродинского, ринулся Хроленко, но погорячился, его огневая очередь прошла мимо фрица, и тот удрал.

— Эх ты, растяпа, — услышал я по радио недовольный голос Бродинского.

Хроленко виновато молчал. В это время с земли вызвали меня.

— Я «Изумруд-один»! Объявляю благодарность за сбитый самолет!

— Все понял! — ответил я.

Когда мы вернулись на аэродром, вокруг нас собрались все летчики, присутствовавшие на аэродроме, и стали обсуждать неудачу Хроленко. Над ним посмеивались, но тут же указывали, в чем его промах. Хроленко получил памятный урок и в дальнейшем никогда не допускал подобных ошибок.

Однако не на всех так действовала товарищеская критика. Одним из таких «трудновоспитуемых» был Исмахамбетов, человек горячий, с очень неуравновешенным характером, не умеющий себя обуздывать. В тот же день он, ведя звено на прикрытие наших войск, обнаружил четверку «фоккеров» и ринулся на них, бросив звено. Из этой атаки ничего не вышло. Немцы ушли, а Исмахамбетов понапрасну расстрелял все патроны.

Пронин, Хохряков и Чистов, которые были в звене, вернувшись на аэродром, возмущались. Я понимал, что Они правы, и решил серьезно поговорить с Исмахамбетовым. Вместе с Армашовым мы долго объясняли ему, к чему может привести горячка в бою. Он поклялся, что впредь будет

дисциплинированным, и я подумал, что «батя» оставит его во главе звена, но он отстранил Исмахамбетова и был прав.

На следующий день я получил задание вытеснить неприятельские истребители из района Валги. Вылетели восьмеркой и шли на высоте тысячи метров. Над городком была сплошная облачность, и я, по приказу, держался под ней.

Уже почти над самой Валгой мы заметили четверку «фоккеров». Они нас тоже обнаружили и, прежде чем мы успели их атаковать, ушли в облака. Преследовать их было бессмысленно. Мы продолжали ходить четверками на встречных курсах, осматривая район боевых действий. К тому же на лобовых курсах мы всегда видели хвосты самолетов друг друга.

В это время пришли наши «горбатые» и начали штурмовку восточной окраины города. Немцы открыли сильный зенитный огонь, создав сплошную завесу. Очевидно, в этом районе у немцев было что-то важное, и они буквально неистовствовали. В этот день мы потеряли двух летчиков и три самолета.

Возвращаясь домой, я на своей территории увидел горевший самолет Пронина, а недалеко около него — санитарную машину. Она тронулась и, переваливаясь по ухабам, направилась в сторону нашего аэродрома. «Петя, Петя! Что же с тобой случилось?»

И снова бой...

Есть люди, которые, рисуясь, говорили и говорят так:

— На войне привыкаешь и к смерти товарищей!

Ложь! Гибель каждого товарища мы, летчики, переживали очень тяжело, с глубокой сердечной болью. А у меня она усиливалась еще и оттого, что среди погибших были не только брат, а и мои земляки-дальневосточники. Землячество — сильное чувство, особенно на фронте. После смерти Пети Пронина у меня осталось лишь два друга-земляка: Витя Бродинский и Дима Хохряков. Наша дружба, наша забота друг о друге стали еще сильнее и как-то трогательнее.

Боль потерь приглушалась частыми сообщениями об успешном наступлении советских войск на всех фронтах. Наши воины вышли к границам Латвийской республики. Когда мы летали над ее лесами и полями, в лицо нам дышала соленым ветром Балтика. Так и хотелось направить машину к морю, посмотреть, какое оно, — ведь я никогда не бывал на море. Но надо было выполнять боевые задания.

Фронт проходил по реке Цесис. Наши саперы наводили через нее переправу. Гитлеровская авиация пыталась им помешать. Видя, что частые налеты маленькими группами не приносят ощутимых результатов, немцы изменили тактику: они стали вести штурмовку переправы реже, два-три раза в день, но большими силами — от двадцати пяти до шестидесяти самолетов.

...Меня вызвал командир полка. Он сидел за столиком и задумчиво барабанил пальцами по карте. Я смотрел на усталое, изрезанное морщинами лицо Армашова и прекрасно понимал, как тяжело ему отправлять на трудное и опасное задание своих «сынков».

— Сил у нас сейчас меньше, чем у врага, — сказал «батя», — и сдержать такое количество немецких самолетов вам будет трудно. Но надо!..

Мы вылетели навстречу фашистам на шестнадцати машинах. Десять самолетов вел лейтенант Гура, а я его прикрывал шестью.

За линией фронта мы обнаружили двадцать четыре «фоккера», которые двигались тремя группами. Видим друг друга, но боя не начинаем. Каждая сторона выжидает более удобного момента для атаки. Немцы ведут себя уверенно, не так, как обычно в последние дни. Ну еще бы, такое преимущество в самолетах! Да и находятся над территорией, занятой их войсками. Но вражеские летчики переоценивают эти

преимущества. Главное все-таки в том, за что сражаешься!

Ведущий «фоккер» слишком рано начинает разворот. На какое-то время, правда очень короткое, немцы подставляют нам свои хвосты. Гура всей десяткой идет в атаку, и «фоккеры», не долго думая, пускаются наутек. Только три пары делают попытку задержать наших, но нервы и у этих фрицев не выдерживают — они тоже уходят в облака.

Одна пара немецких истребителей напоролась на мою шестерку. Я дал короткую очередь по первой немецкой машине, она вспыхнула и пошла вниз. Бродинский почти одновременно успел сбить второй вражеский самолет.

Бой как будто закончился. Казалось, что немцы больше не покажутся, заплатив двумя машинами за встречу с нами. Однако следовало все же быть настороже — врагу нужна наша переправа.

И действительно, немцы, набрав высоту, собрались над облачностью и прорвались незамеченными к переправе. Как черные коршуны, налетели они целой стаей, ведя густой огонь. Из пике выходили на очень низкой высоте и бреющим полетом удирали под прикрытием своих зениток.

Мы подошли к переправе, но немцы не обращали на нас никакого внимания и продолжали пикировать. Перехватывать вражеские машины на низкой высоте было невероятно трудно. Наши атаки не давали результатов. Тогда я, оставив пару Хохрякова для прикрытия ударной группы, с четверкой «яков» немедленно вышел выше облачности и преградил фашистам путь к переправе. Волей-неволей им пришлось вступать в бой. Он сразу же перерос в яростную схватку. На каждый наш самолет приходилось по три «фоккера». Я сообщил об этом Гуре, и он, оставив четверку «яков» для охраны переправы, поспешил с шестеркой мне на выручку. Друг пришел вовремя — разъяренные немцы наседали на нас. Видно, в машинах с клеймом свастики сидели опытные летчики. Все же мы их связали боем и спасли переправу. Завидев самолеты Гуры, немцы немедленно ушли.

День прошел спокойно, но к вечеру на переправу обрушилось двадцать немецких штурмовиков. Мы направились к ним восьмеркой. Едва наши истребители ворвались в строй вражеских машин, как немцы бросились наутек. Но мы отсекли две машины, они стали трофеями летчиков Даватьяна и Соколова. Я смотрел на два костра на земле и думал, что весь путь отступления врага отмечен такими огненными вехами...

— Тридцатый, я — сороковой, — послышался в шлемофоне голос Даватьяна. — Барахлит мотор. Разрешите уйти?

— Разрешаю. Соколову прикрыть ведомого.

Два наших самолета пошли на аэродром. Видимо, машина

Даватьяна получила в бою повреждение. Вскоре и мы двинулись домой. Пройдя половину пути, я увидел на земле машину Даватьяна. Она лежала, высоко задрав хвост. Летчика нигде не было. Сделав два круга, я направился на аэродром, удрученный случившимся и беспокоясь за жизнь Даватьяна.

Он пришел на следующий день пешком, осунувшийся, с запекшейся кровью на щеке. Вид у него был смущенный. Пряча от меня взгляд, летчик признался, что, когда мотор, изрядно пробитый крупнокалиберными разрывными пулями, заглох, он пошел на вынужденную посадку с выпущенным шасси, что категорически запрещалось. Нужно было садиться на «живот». Колеса наткнулись на большую валежину, и самолет скапотировал, а Даватьян пробил себе щеку о прицел.

— Понимаешь, — горячился Даватьян, отчего у него особенно сильно становился заметен армянский акцент, — какой-то дьявол бросил там дерево! Загубил хорошее дерево. Безобразия! Я наткнулся. Я ругал того человека плохими словами!

Нельзя было без улыбки смотреть на этого симпатичного чернобрового человека, но все-таки пришлось «поставить его на коврик» и «разнести». На следующий день самолет притащили на аэродром, отремонтировали, и Даватьян совершил на нем еще много вылетов.

Немцы по-прежнему донимали своими налетами переправу. Они подвешивали к истребителям бомбы и сбрасывали их вниз. Численное превосходство фрицев не позволяло нам предупреждать все их налеты, но все же мешали мы немцам очень сильно, и они приносили переправе незначительный ущерб. По ней теперь непрерывно шли наши войска и боевая техника.

В эти дни мы мало спали, еще меньше отдыхали. Забыты были кино и танцы. Присмирели даже наши полковые шутники — Бродинский и Даватьян. Все чаще вспоминали погибших товарищей. Это было плохим признаком. Люди осунулись, помрачнели. Как-то я сказал Даватьяну:

— Слушай, друг кавказский. Говорят, у армян есть такая поговорка: «Человек перестал петь — перестал жить». Правда?

— Так, так, — обрадованно закивал Даватьян, любивший, когда говорили о его родине, о его народе. — Откуда знаешь ее? Зачем вспомнил? Хочешь петь?

— Хочу, чтобы ты товарищам пел!

Глаза у Даватьяна вспыхнули, он ударил себя в грудь ладонями:

— Понял тебя. Петь буду — жить будем!..

Вскоре я услышал приятный голос Даватьяна:

Нас было восемь «яков» быстрокрылых,

Мы шли туда, куда был дан приказ.
Мы смерть несли врагу на наших крыльях,
Мы шли туда, где смерть встречала нас.

За последнюю строчку я рассердился на Даватьяна. Что это он завел о смерти! Но каково было мое удивление, когда я увидел, как понравилась всем эта песня. Дальше Даватьян пел уже о грядущей победе. Вскоре эта песня стала чем-то вроде гимна нашей эскадрильи.

Положение между тем осложнялось. В полку оставалось все меньше машин. В нашей эскадрилье — пять, во второй — две, в первой — четыре. Многие летчики улетели за новыми самолетами. А изматывающие бои над переправой продолжались. С пресловутой немецкой точностью фашисты приходили на штурмовку. На каждого нашего летчика нагрузка возросла...

Как-то я с четверкой «яков» патрулировал после обеда над переправой. Небо было чистое. Неожиданно получил сообщение радиостанции наблюдения, что к переправе движется большая группа немецких самолетов. Что делать, какую тактику принять? Набрав высоту со своей четверкой, пошел навстречу фашистам. Пересекли линию фронта и направились в глубь оккупированной территории. Километров через двадцать показался целый косяк «фоккеров». Они шли восьмерками, которые сверху прикрывались парами. Таких групп я насчитал шесть. Значит, у врага в общей сложности шестьдесят самолетов, а у нас — только четыре. Ничего себе, веселая картина! По пятнадцать вражеских машин на каждую нашу!

Что же делать? Удирать? Этого еще не хватало! Нет, мы будем драться! Только по-иному. Надо заставить фрицев сбросить бомбы, не доходя до переправы. Я учитывал, что при бомбовой нагрузке «фоккер» значительно теряет маневренность и скорость. Знали об этом, конечно, и фрицы, поэтому они постараются уклониться от боя.

Я повел свои самолеты в атаку на первую десятку Фрицев с высоты тысяча метров над ними. Огонь решил не открывать, чтобы не увлечься боем. Когда до немцев оставалось около ста метров, они с переворотом пошли к земле. У меня от радости даже сердце забилось чаще. Поймались на удочку, фашисты! Раз пошли с переворотом, значит сбросили бомбы на свою территорию! Но долго предаваться радостному чувству просто не было времени. Десятки вражеских машин шли с интервалами в полтора — два километра. Я должен был максимально использовать эти интервалы. Сделал левый боевой разворот, так как пара прикрытия у немцев находилась с правой стороны. Пока она будет переходить на левую, я успею атаковать следующую

группу с бомбами. Мысли у меня были ясные, как обычно бывает в минуту большого нервного напряжения.

Мои товарищи четко выполняют все приказы, а отличная слетанность позволяет производить сложное маневрирование. Атакуем вторую группу — и она бросает свои бомбы куда попало. Затем то же самое повторяется с третьей и четвертой группами...

Разъяренные немецкие летчики набрасываются на мою четверку. «Фоккеры» из первой группы лезут выше меня, чтобы атаковать сверху, но я тем временем атакую пятую группу с бомбами и поджигаю первого справа фрица. Вся группа вражеских машин падает вниз, бросает бомбы на головы своих войск.

Так, так! Бомбите своих! Громите их! Еще один удачный маневр — и операция немцев будет сорвана. Если же мы пропустим последнюю группу фашистских самолетов, то вся наша боевая работа может пойти насмарку — прорвавшись к переправе, вражеские летчики постараются сбросить на нее бомбы. Поэтому мы будем преграждать путь врагу, даже если для этого придется погибнуть!

В воздухе творится такая кутерьма, что немцам трудно подсчитать, сколько у нас самолетов. Мы же знаем количество их машин, и это дает нам преимущество. Волей-неволей немцы втягиваются в бой.

Клубок самолетов все-таки скатывается к переправе. Фашисты держатся крепко, бомб не сбрасывают. Видно, в этой группе у них летчики обстрелянные. Мы наседаем на них все сильнее. Огрызаясь огнем, фашисты идут к переправе. Что делать? Всем нашим идти на таран немцев? Но нас же в несколько раз меньше. Нет! Погибнуть мы всегда успеем. Надо заставить немцев сбросить бомбы! Я иду в новую атаку на ближнего фрица, и он сбрасывает свой груз в пяти километрах от переправы. За ним то же самое проделывают и остальные немецкие летчики. Как говорится, дурной пример заразителен!

Чувствую, что устал невероятно. Сказывается и физическое и нервное напряжение. Сквозь атмосферные разряды слышу приказ «бати»:

— Тридцатый! Я — «Изумруд-один»! Выходите из боя! Вам выслана помощь!

Выйти из боя потруднее, чем может показаться. Все наши пары распались, каждый действовал самостоятельно, и теперь мы были в окружении врагов. Как же выбраться из него? Пикировать к земле? Попытаться оторваться? Нет, немцы так легко меня не отпустят. Лучше всего войти в облачность и, прикрываясь ею, уйти к своим. Но до облачности полторы тысячи метров, незаметно от врага этого не сделаешь. Ладно! Мне поможет

какой-нибудь фашист!

Я пристраиваюсь к одному «фоккеру» вплотную. Увидев так близко советский самолет, немец шарахается в сторону, — он же опасается, что я вот-вот открою по нему огонь. А мне только этого и надо! Я следую за «фоккером» в том же порядке. Фриц часто в страхе поглядывает на меня своими очками. Я не вижу его глаз, но знаю, что они сейчас расширены от ужаса.

Немец мечется бестолково, а мне же нужно в облака! Я жму на него, и вдруг неожиданно для самого себя грожу ему кулаком. Пытаясь уйти от меня, вражеский летчик тянет к облакам. Вот это-то мне и надо! Но тут ему на выручку спешат еще два «фоккера». Мое положение становится очень опасным. Я жмусь к «своему» фрицу так, что по мне нельзя открыть огонь, не попав в него. Фашисты пытаются зайти ко мне с другой стороны, но я ныряю под «своего» немца и снова прикрываюсь им, как щитом. Тут фриц, испугавшись, что его могут прикончить свои, пытаясь скрыться от меня, бросается наконец в облака, а вместе с ним и я. Пробив облачность, мы оказываемся один на один. Я подбираю газ, нажимаю на левую педаль и спокойно, с точным прицелом, как на учении, стреляю из пушки. «Фоккер» взрывается. Проводив взглядом его обломки, иду к Валге. Здесь меня ожидают две машины — Бродинского и Хохрякова. А где же Ваня Хроленко?

О его судьбе, о совершенном им подвиге узнаю на аэродроме. Он, как когда-то капитан Белоусов, заметив, что его ведущему — Хохрякову — грозит опасность быть сбитым, прикрыл его своим самолетом. Товарищи видели, как, объятый пламенем, самолет Хроленко ушел к земле... А вечером того же дня мы сжимали Ваню в своих объятиях. Он был жив, невредим и несколько смущен нашей горячей встречей. Оказывается, на горящем самолете Ваня приземлился все же на нашей территории.

Мы, как всегда, обсудили итоги этого боя и стали готовиться к очередным. На следующий день Советское Информбюро в оперативной сводке сообщило:

«Наша авиация господствует в воздухе и наносит бомбово-штурмовые удары по отступающим войскам противника. Разбито много орудий, более ста автомашин и повозок с грузами. Группа истребителей под командованием лейтенанта Некрасова, прикрывая наземные войска в районе Валмиера — Цесиса, сбила три немецких самолета. Два из них сбил лейтенант Некрасов. Всего в течение дня наши летчики уничтожили восемнадцать немецких самолетов».

Приятное, радостное сообщение!

Но эта радость вскоре была омрачена. Мы вылетели для прикрытия наших войск, двигавшихся к Риге. Ведущим группы по

просьбе летчиков был назначен старший лейтенант Марков. Командир полка поставил его во главе группы, чтобы он мог вернуть доверие товарищей, вновь поднять свой авторитет. Это накладывало на него большую ответственность и требовало смелых, решительных и правильных действий.

До переднего края оставалось около пяти километров, как с КП дивизии раздался приказ:

— Двадцать второй! Я — «Береза-один». Идите ко мне! На переднем действуют «фоккеры»!

«Двадцать второй» — это позывные Маркова, а «Береза-один» — командира дивизии полковника Гращенко. Он несколько раз повторил приказ, но Марков, не отвечая, развернулся и пошел вдоль линии фронта над нашими войсками, удаляясь от станции наведения.

Я подумал, что Марков не слышит приказа, и решил ему помочь. Связался с ним и передал приказ полковника, но Марков и мне ничего не ответил. «У него барахлит рация», — решил я и, взяв связь на себя, развернулся перед носом машины Маркова, помахал ему крыльями: «Следуй за мной!»

В нашей группе только я и Марков имели право на радиопередачу. Я получил от «Березы-один» приказ следовать навстречу «фоккерам» и изменил курс полета. Марков последовал за мной, но своего командного места в группе не занял и стал набирать высоту.

«Что он делает?» — недоумевал я. Исправлять ошибку Маркова было некогда. Мы вышли к линии фронта и увидели восьмерку «фоккеров», которые штурмовали наш передний край. Я с ходу врезался в строй немцев, имея в виду, что Марков сверху прикроет нашу четверку. Однако этого не произошло.

Вражеские летчики приняли бой. Они набрали высоту и, имея двойное превосходство в количестве, быстро заняли выгодную позицию. Ох, как нам нужна была в это время помощь Маркова! Но он ушел с места боя на свою территорию, уводя своего ведомого Виктора Сергеева. Командир дивизии приказывал ему вернуться, но Марков молчал.

А у нас схватка с немецкими летчиками становилась все яростнее. Немцы во что бы то ни стало решили разделаться с нами, сковав наше маневрирование на вертикали. Они сейчас были хозяевами высоты и непрерывно нас атаковали, но успеха пока не имели из-за хорошей слетанности нашей четверки. Мы крепко держались друг друга. Это приводило немцев в ярость. Они наседали и наседали. Я был страшно зол на Маркова. Появись он со своей парой — и бой был бы нами выигран! Я непрерывно вызывал его по радио, но Марков молчал. Трус,

подлец, предатель!

Какими только эпитетами я его не награждал! Но от этого было не легче. Бой шел пока вничью. Мы крутились до потемнения в глазах, с каждым кругом сближаясь с неприятелем. Первая же атака пары Маркова дала бы прекрасные результаты — один-два немца немедленно бы отправились к праотцам.

В этот момент два «фоккера» снова атаковали нас, но мы их пропустили вперед, избежали огня и не прекращали преследования четверки фрицев, на которых мы заходили в атаку.

Наша выдержка и умение, конечно, принесли бы нам хорошее завершение боя, правда, после трудной борьбы, но тут Вано Исмахамбетов спутал все мои расчеты. Он кинулся за уходящей парой «фоккеров», подставив себя под огонь других немецких летчиков. «Сейчас его собьют», — мелькнула у меня мысль, и я кинулся к нему на помощь, бросив тех фрицев, атака на которых предвещала нам успех.

Однако я опоздал. Вано с короткой дистанции сбивает одного «фоккера», но в ту же минуту сам окутывается огнем и дымом и идет к земле, а остальные вражеские машины на бреющем полете уходят на запад. Мы ничего не можем сделать. Самолет Вано, или, вернее, его остатки пылают на земле рядом с обломками им же сбитого «фоккера». Во время боя мы далеко ушли в глубь территории, занятой врагом. В воздухе нас осталось трое. Я снова смотрю на горящий самолет, прохожу над его останками и веду товарищей домой.

Солнце затянуто дымкой и кажется кроваво-красным. Оно точно подожгло нижние кромки облаков у горизонта... А может быть, это отблеск горящего самолета Исмахамбетова? Эх, Вано, Вано... Ведь погиб из-за своего же легкомыслия, из-за неоправданной горячности.

И я опять вспоминаю о Маркове. Будь он рядом, все могло быть иначе. И Вано был бы жив! А где же Марков? На аэродроме его тоже не оказалось. Едва я зарулил свой самолет на стоянку, как в наступающих сумерках неровной «походкой» подошел «як». Или машина повреждена, или летчик ранен? А может быть, и то и другое? На запросы по радио летчик не отвечал. Мы помогли ему сесть при помощи ракетниц, подсвечивая посадочную площадку. «Як» коснулся земли колесами, некоторое время бежал по полосе, потом правая нога шасси сложилась, «як» упал на крыло, взрыл землю и скапотировал. Летчики и техники бросились к машине и вытащили из кабины Виктора Сергеева, ведомого Маркова. Виктор, раненный в грудь и ноги, был весь в крови. Сознание вернулось к нему только в лазарете, где готовились его оперировать. Виктор медленно, тихим голосом рассказал, что

произошло...

Когда Марков увел его от места боя, Виктор несколько раз пытался показать командиру, что надо вернуться к сражающимся товарищам, но Марков не отвечал. Оставить Маркова ведомый не мог. И вот они ходили над линией фронта под облаками, пока мы дрались с восьмеркой «фоккеров». Виктор порывался бросить Маркова и идти к нам, но дисциплина удерживала его на месте. Он страдал оттого, что товарищи сражаются, а он спасается.

— Это было предательство, — шептал Виктор, и по его лицу текли слезы.

Врач приказал Сергееву замолчать, но он упрямо продолжал и закончил свой рассказ.

На него и Маркова из-за облаков неожиданно свалилось четыре «фоккера». Марков хотел уйти от них в облако, Виктор кинулся на атакующих, прикрывая командира, но тут его прошила первая пулеметная очередь с вражеского самолета. У него была перебита правая нога, и машина уже плохо слушалась. Вскоре Виктора настигла вторая очередь. Он на какое-то время потерял сознание. Открыл глаза уже на высоте девятисот метров. Самолет падал. Виктор с трудом выровнял его и повел к аэродрому, чувствуя, как у него иссякают силы... Последние минуты полета он плохо помнит...

Марков так и не вернулся на аэродром. Он был сбит фашистами. «Пуля, что пчела: побежишь — ужалит», — подумал я. Бесславная и позорная смерть. Смерть труса и предателя. Ни у кого из нас не шевельнулось ни капли жалости к Маркову.

Но как мы все горевали, когда утром узнали, что Виктор Сергеев скончался от ран. Хоронили его в саду около КП. Над могилой заместитель командира полка произнес речь. Я смотрел на красивое лицо Виктора, которое даже смерть не могла исказить. Оно было спокойным, даже гордым. Так выглядят люди, когда погибают, выполняя свой долг перед Родиной.

Два самолета проносятся бреющим полетом над могилой Виктора Сергеева, отдавая ему последнюю почесть...

На запад, на запад!

Доблестная Советская Армия, разгромив гитлеровские полчища под Москвой и на Волге, выходила к Балтике. Прорвавшись к Мемелю, наши воины отрезали большую группировку немцев на Курляндском полуострове, загнали их «в мешок», как когда-то любили выражаться фашисты.

Снова перебазировка. Перед вылетом командир полка поздравил Степана Гуру и меня с присвоением нам очередного

звания — старшего лейтенанта.

Мы поднимаемся в воздух, делаем прощальный круг над аэродромом и уходим вперед, на запад! Это было рано утром. Вставало солнце, и мне оно казалось огромным знаменем близкой победы...

С ходу вступаем в боевую работу, едва осмотревшись на новом аэродроме. В эти дни мы прикрывали бомбардировщиков, которые наносили мощные бомбовые удары по Кенигсбергу и Мемелю.

Наконец-то я увидел море. Вот оно лежит — огромное, серо-синеватое. Наши бомбардировщики заходят над портом, где скопились немецкие корабли, и бросают в них бомбы. Они рвутся огненными фонтанами на причалах, в воде, поднимая бело-синие столбы. В этот момент появляются две четверки «фоккеров» и направляются к нашим бомбардировщикам. Мы вступаем с ними в бой, и фрицы уходят, не солоно хлебавши. Но тут зенитки подбили один наш бомбардировщик. У него задымил правый мотор, и самолет начал терять скорость. Мы с Симченко его прикрываем, и бомбардировщик спокойно добирается до своей базы.

После взятия Мемеля мы получили приказ идти в Курляндию. Предстояла сложная работа — блокировать все аэродромы немцев на их Курляндском плацдарме, наносить массированные удары по порту Либава, через который фашисты снабжали свои войска и вели эвакуацию. Недалеко от порта был аэродром Серава, имевший две посадочные полосы в виде римской цифры V. Нашему полку было приказано подавить огонь зенитной охраны аэродрома и не позволить ни взлететь с него, ни приземлиться здесь ни одному вражескому самолету.

На эту операцию вышло тридцать самолетов. Я командовал группой нижнего яруса. Мы незаметно подлетели к посадочным полосам раньше всех. Две четверки наших истребителей, которыми командовали недавно назначенные командирами звеньев Бродинский и Хохряков, сразу набросились на зенитные батареи. Я же со своей парой должен был не дать взлететь тем вражеским самолетам, которые попытаются это сделать. В месте расхождения посадочных полос стояло четыре «фоккера». Два сразу начали разбег для взлета. Я кинулся к ним. Немецкие самолеты успели оторваться от земли, но скорость у них была еще мала. Я открыл огонь по ведомому немцу, и он сразу же клюнул в землю. За ним последовал и второй. Как и почему разбился второй «фоккер», я не знаю. Может, я случайно задел его, может, у него что-нибудь испортилось. Но, в конце концов, это не столь уж важно. Главное, что два «фоккера» прекратили

существование на своем же аэродроме.

А мои товарищи штурмовали зенитные батареи, подошедшие бомбардировщики громили стоянки самолетов. В горящие факелы превратились и оставшиеся на взлетной полосе два «фоккера». Разгром немецкого аэродрома был полнейшим. У нас потери небольшие — подбит один бомбардировщик. Экипаж его выпрыгнул на парашютах над нашими частями.

Ночью немцы решили взять реванш, отомстить нам за свой аэродром. Они, умело маскируясь, налетели большим соединением и начали такую бомбежку, что земля ходила ходуном. Мы сидели в щелях, потом я выбрался наружу. Ночь была ясная, звездная и холодная, земля уже подмерзала. Я с удивлением увидел, что немцы бомбят где-то в стороне от нас совершенно пустое место. И это при хорошей-то видимости! Очевидно, наш настоящий аэродром они принимают за фальшивый и бомбят предполагаемый «настоящий» аэродром. Немецкая разведка стала непрерывно давать осечки!

Я уже собрался вернуться в блиндаж, как увидел огонь в районе стоянки наших самолетов. Я крикнул товарищам и побежал на аэродром. Через десяток шагов я понял, что горит оружейная каптерка нашей эскадрильи. А в ней ведь хранится весь боекомплект на завтра. Мне стало так жарко, что я рванул ворот и пустился бежать изо всех сил. На пути к каптерке был довольно глубокий овраг. Я скатился на его дно, а выбраться в темноте никак не мог — доберусь до половины склона и обрываюсь вниз. Наконец кое-как, на четвереньках, выполз наверх, цепляясь за кусты, и снова побежал.

К каптерке я подоспел в тот момент, когда наша оружейница Зоя Мосина, выломав дверь (эта девушка в полку славилась своей огромной силой), вбежала в землянку, где уже бушевал огонь. Я бросился за ней.

В углу каптерки стоял ящик, куда бросали паклю после чистки оружия. Зоя схватила ящик и, не обращая внимания на едкий дым и огонь, бьющий прямо в лицо, крикнула:

— Посторонись, командир!

Едва я отшатнулся, как ящик с грохотом вылетел из землянки. Я выскочил на чистый воздух полузадохнувшийся от дыма и стал гасить паклю, чтобы огонь не привлек внимания немецких летчиков. Расправившись с. огнем, я спустился в каптерку и увидел, что Мосина спокойно сидит и причесывается. Окно завешено плащпалаткой, а на столе помигивает коптилка. В землянку вбежали несколько летчиков. Мосина встретила их сердитыми словами: — Вам бы спать надо! Я поддержал ее:

— Товарищи офицеры, тревога ложная. Можно отдыхать. Там,

где сержант Мосина, все в порядке!

Летчики вышли из землянки. Было необычайно тихо. Но мы ошиблись, предположив, что бомбежка кончилась: над нами вдруг раздался такой вой, что по спине мурашки поползли. Немцы иногда применяли воющие бомбы, которые довольно эффективно действовали на людей со слабыми нервами. К тому же каждому казалось, что бомба падает именно на него.

Мы в это время были в овраге и бросились ничком на его дно. Огромный оглушительный взрыв потряс все вокруг, на нас полетели комья земли, барабаня по спинам. Закрыв головы руками, мы лежали под этим градом. Когда все стихло, направились к своей траншее, но не нашли ее. Во время взрыва бомбы траншею завалило.

Сегодня 7 ноября — двадцать седьмая годовщина Октябрьской революции. Праздник не только в наших сердцах — праздник в природе: день стоит удивительно солнечный, какой-то особенно светлый. Я и мои товарищи думаем о том великом событии, которое произошло в 1917 году, когда был взят штурмом Зимний дворец и над страной взвилось алое знамя свободы.

Сколько было пролито крови за нашу свободу! В дальневосточной тайге сражались с белыми и интервентами партизаны, среди них был и мой отец. Так неужели я мог бы дрогнуть, отступить? Клянусь именем отца, именем Родины, что буду до последнего дыхания защищать завоевания Великого Октября!

Вечером перед полковым знаменем выстроился весь полк. В торжественной тишине командование поздравило нас с великой годовщиной, призвало к новым боевым подвигам. А затем представитель дивизии вручил ордена и медали летчикам и техникам, которые отличились в последних боях. Я был награжден орденом Отечественной войны I и II степени за бои в Латвии и Литве. В тот же день командование части послало моим родителям письмо, в котором рассказывало о моей боевой работе.

Это письмо сохранилось в нашей семье. Вот оно:

> «Многоуважаемые Петр Михайлович и Анна Дементьевна!
>
> В день праздника, 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, примите пламенный фронтовой привет от личного состава части, где служит и воюет ваш сын Владимир Петрович Некрасов. Нам хочется рассказать о боевых делах вашего сына.

Более ста семидесяти боевых вылетов, десятки воздушных схваток и семнадцать лично сбитых фашистских самолетов — вот итог боевой работы Владимира Некрасова.

Свой долг и воинскую присягу он выполняет честно и добросовестно. Мы гордимся смелостью, храбростью, отвагой, умением и героизмом вашего сына.

За смерть брата Александра он мстит немецким фашистам беспощадно, и еще не один стервятник разделит участь тех семнадцати, которых так ловко вогнал в землю Владимир Некрасов.

Четырьмя орденами наградило его правительство. Гордитесь своим сыном. Желаем вам скорой встречи с Владимиром и доброго здоровья.

До свидания!

По поручению: майор АРМАШОВ,

капитан ПЯТИГОРЕЦ,

лейтенант ГУРА,

старшина МИХЕЕВ.

7 ноября 1944 года.

Наш адрес: полевая почта 26349».

...Внезапно перебазируемся на аэродром в Эзеры, который недавно был отбит у немцев. Перед отступлением они взорвали его бетонное покрытие, но наши саперы сразу же взялись за восстановление посадочных полос. Пока полетов нет и мы отдыхаем. Стоит зима. За аэродромом, где у немцев проходила оборонительная полоса, из-под снега торчат вражеские трупы. Брустверы буквально засыпаны патронами. Как отчаянно ни сопротивлялись здесь немцы, но наши воины их выбили и отбросили далеко на запад!

Стоянки для самолетов мы оборудовали в лесу, около которого было создано временно летное поле. Маскировка оказалась идеальной. Мы начали разведывательные полеты...

Идем с Виктором Бродинским к станции Скрунда. Путь преграждает стена зенитного огня. Мы ее благополучно перескакиваем, но вновь натыкаемся на такой густой огонь, что, как говорится, и дохнуть нечем.

— Будь осторожней, — говорю я Бродинскому.

Совет советом, а обстоятельства — сами по себе. Самолет Виктора неожиданно резко идет вниз и скоро исчезает за линией фронта. Что с ним случилось? Запрашиваю Виктора. Он отвечает уклончиво:

— Тряхнуло! Да и рули, кажется, чуть-чуть заклинило.

— Домой, — приказываю я. — Буду прикрывать.

До аэродрома дошли благополучно. Я приземлился первым и, выпрыгнув на плоскость, следил за Бродинским. Он при посадке не выпустил одно колесо — шасси повредило осколком. «Как-то Виктор справится с посадкой? А может быть, он сам ранен?» — тревожусь я за друга. Вот самолет коснулся полосы одним колесом, пробежав немного, взрыл снег правым крылом и, быстро повернувшись вокруг своей оси, остановился. К самолету спешат летчики, техники, но впереди всех наш «батя». Из кабины вылезает невредимый Бродинский, и все облегченно вздыхают. «Батя» говорит Виктору:

— С посадкой справились хорошо!

Я рассказываю об этом случае потому, что он наглядно показывает, как возросло мастерство наших летчиков. Они всегда в самой тяжелой обстановке принимали правильные решения, думая прежде всего о том, как бы нанести больший урон врагу и сохранить технику. Ну, а если другого выхода не было, то шли на таран.

Вскоре, находясь на прикрытии штурмовиков, которые обрабатывали вражеский передний край бомбами и реактивными снарядами, одна наша машина была подбита и вспыхнула так ярко, что превратилась в огненное облако. Летчик, видимо раненый, направил горящий самолет на немецкие укрепления. Он врезался в них очень точно, погребая под собой не один десяток фашистов. Это был огненный таран.

Слава патриоту, слава герою!..

Последние схватки

— Петров вернулся. Петров жив! — послышались громкие взволнованные голоса у нашей землянки.

Петров? Петров... Да это же наш летчик! Он был сбит под Запорожьем. Я выбегаю на улицу и вижу у крыльца толпу товарищей. Они окружили радостно улыбающегося Петрова, жали ему руки, что-то говорили, перебивая друг друга. Я сразу узнал его, хотя он очень изменился. В лице появились жесткие и, я бы сказал, гневные черточки. Глаза смотрели строго и как-то задумчиво, как это бывает у много переживших людей.

Мы засыпали его вопросами, а сами не давали ему говорить.

Наше волнение было понятно: вернулся товарищ, которого мы считали погибшим. Когда все немного успокоились, Петров поведал нам свою историю.

Его сбили вблизи немецкого аэродрома. Все же ему удалось сесть. Опасаясь, что и самолет и документы могут быть захвачены гитлеровцами, Петров сжег их, а сам направился на восток, но набрел на немецкий патруль. Это произошло так неожиданно, что он не смог произвести ни одного выстрела из своего пистолета.

Связанного летчика привели на фашистский аэродром. Здесь четыре дня гитлеровцы уговаривали Петрова перейти на их сторону, помогать им в обучении молодых летчиков. Он отказался. Убедившись, что советский авиатор не станет предателем, его решили передать в руки гестапо. По дороге с аэродрома Петрову удалось бежать. Вслед ему немцы открыли автоматный огонь, пули срезали ветки вокруг, но он остался невредимым, лес скрыл его. Теперь дорога летчика шла к линии фронта. Он стал более осторожным — днем отсиживался в лесу, в глухих уголках, а ночью продолжал свой путь. Но как тяжело было ему, советскому человеку, прятаться на своей земле! Горело сердце ненавистью к врагу, когда проходил мимо разрушенных сел, мимо виселиц, где покачивались трупы русских патриотов.

«Скорее к своим, скорее в родную летную часть, чтобы мстить оккупантам», — это было единственной мыслью Петрова. Но у одной деревушки вблизи фронта он вновь был схвачен и несколько дней просидел в яме. Затем его погнали в тыл вместе с другими задержанными. Гнали голодных, оборванных, били прикладами, и если кто-нибудь падал, его сразу же пристреливали. Так погибло на глазах Петрова несколько стариков, женщин, раненых советских военнослужащих.

Группа пленных была в девяносто человек. За шесть дней, что шел с ними Петров, на дорогах и в кюветах осталось сорок трупов. На седьмой день Петров вновь бежал и пошел назад, к фронту. В течение месяца он прятался по лесам, в подвалах, где его укрывали честные советские люди. Эти люди переодели летчика в крестьянское платье, достали документы на имя шофера Иванова, который якобы направлен за получением запчастей для ремонта сельхозмашин.

Шаг за шагом лейтенант упорно приближался к фронту. И когда до своих было уже близко, советского летчика выдал предатель. На дороге возле одного села Петрова нагнала подвода, возница предложил подвезти его. У въезда в деревню им встретился немецкий патруль, и возчик, подозвав офицера, что-то сказал ему. Петрова арестовали, а возчик получил за свое предательство куль соли, которую в виде премии выдавали немцы

тем, кто помогал им ловить бежавших пленных.

Над лейтенантом нависла страшная опасность: через несколько дней после его ареста под натиском советских войск фашисты были вынуждены начать отступление, и, чтобы им было легче «драпать», они получили приказ расстрелять большинство пленных. Утром Петрова и его товарищей по несчастью вывели из села, в котором они ночевали, и у какого-то рва приказали раздеться донага. Даже при отступлении фашисты оставались верными себе — обогащались за счет одежды расстрелянных.

Падали на землю рубашки, пиджаки, белье. В общую кучу швырнул и Петров свою нательную рубаху. Грязное, заношенное тряпье ворошил тростью офицер, отбирал для себя что получше, покрепче. На глаза ему попала нижняя рубашка летчика с клеймом «БАО». Офицер издал какое-то восклицание, и Петров получил приказ одеться. Его тут же посадили в автомашину и повезли прочь от места расстрела, где уже раздавались автоматные очереди и крики погибающих. Летчик хотел выпрыгнуть из машины, но его сбили с ног, прижали к днищу кузова. Почти потерявший сознание, он был доставлен в село, в разведку. Там его долго допрашивали, затем сфотографировали.

— Я все время настаивал на том, что я шофер Иванов, что шел за запчастями, — рассказывал Петров. — Неожиданно меня сильно избили и бросили в подвал. Через три дня вызвали на допрос. Я стоял на своем. Тогда офицер замахнулся на меня, но не ударил, а стал листать какой-то журнал. Из него он вынул фотографию и показал мне: «Вы?» Я увидел себя в летной форме. Отпираться было бесполезно, но я все-таки сказал:

— Это я сфотографировался ради шутки. Хотелось похвастаться перед девчатами, что, мол, я военный летчик. Они же любят военную форму.

— А эти тоже ради шутки сфотографировались? — и офицер стал показывать мне фотографии многих летчиков нашего полка. Я вначале растерялся, а потом меня охватило бешенство. Какая-то сволочь шпионит в нашем полку! Я не заметил, как выкрикнул эти слова, и выдал себя. Офицер был доволен и стал продолжать допрос, но я уже взял себя в руки и перестал отвечать даже на пустяковые вопросы, заявив, что в полк прибыл недавно и ничего и никого не знаю...

Петрова били, били нещадно, допытывались важных сведений. Истерзанного, но не сломленного летчика отвели в отдельную комнату гестапо. В коридоре, который выходил во двор, всегда находился часовой. Через несколько часов, под вечер, в комнату летчика вошла женщина с ведром воды и тряпкой и стала мыть пол. Часовой наблюдал за ней. Наконец это

ему надоело, и он отошел. Тогда женщина шепнула Петрову:

— Когда услышите мой смех, бегите. Я задержу немца.

Женщина ушла. Что это — новая провокация? Но Петрову нечего было терять, и он решил поступить так, как ему советовали. Женщина, выходя, не закрыла дверь на ключ. Через несколько минут донесся женский смех, он становился все громче. Петров выглянул из своей камеры. Часового не было, а из соседней комнаты слышались возня и смех женщины. Летчик на цыпочках пробежал коридор, выскочил во двор, уже погруженный во мрак. Начинал накрапывать дождь. Не веря в свое освобождение, Петров перемахнул через забор, миновал какую-то улицу, оказался за селом и направился к линии фронта.

Побег удался...

Мы выслушали рассказ товарища, и, конечно, первый наш вопрос был о том, как фотографии летчиков полка оказались у немцев. Но сколько мы ни ломали головы, ничего узнать не могли. Ответ на это пришел позднее...

На другой день я, как обычно, сидел в своем самолете в боевой готовности: я своей четверкой должен был прикрывать «горбатых», идущих на обработку немецкого переднего края. Сегодня у меня ведомым молодой летчик, недавно прибывший в эскадрилью, — Миша Олейник. У Бродинского тоже новичок — Касьян. Неожиданно звонит телефон, установленный на плоскости моего самолета. Меня вызывают на КП. Я выпрыгиваю из машины, сбрасываю парашют и бегу к «бате». Оказывается, некоторое изменение задания: пойдем прикрывать «горбатых», которые будут штурмовать станцию Скрунда, — там идет выгрузка вражеских войск. Бегу назад к самолету, где механик уже держит парашют, натягиваю лямки на себя — и в машину.

Над нами проходят штурмовики. Наша четверка идет на взлет и пристраивается к ним. Я договариваюсь с их ведущим о предстоящей работе. Кажется, все в порядке.

Пройдя линию фронта под сильным зенитным огнем, мы подошли к станции Скрунда. Здесь нас встретил комбинированный огонь крупнокалиберной и малой зенитной артиллерии. Штурмовики пошли на станцию — и зенитный огонь неожиданно оборвался. «Что-то хитрят немцы», — подумал я и предупредил Бродинского:

— Смотри в оба. Затишье не к добру!

В разгар штурмовки я заметил появившуюся над нами четверку «фоккеров». Предупреждаю о ней Бродинского. Немцы не вступают в бой, чего-то ждут. Мы начеку. Что же будет дальше? Наши «горбатые» наносят второй удар по станции — и тут же под ними появляется еще четверка фрицев.

— Занимайся верхними немцами, нижних беру на себя, — сказал я Бродинскому и предупредил ведущего «горбатых»: — Закругляйтесь. Дело серьезное.

Ситуация действительно была серьезной. Ведь в нашей группе только два опытных истребителя, а два — еще новички. Немцев же восемь. Я с ходу даю пулеметную очередь, и нижняя четверка «фоккеров» отходит в сторону. Выше меня уже ведет бой Бродинский. Он начал заходить в хвост «фоккеров», но вдруг его обогнал его же ведомый и подставил себя под огонь фрицев.

— Куда! — закричал я, но было уже поздно. Молодой летчик Касьян делает ошибку и идет не вверх, а уходит в глубокую спираль.

Я пытаюсь ему помочь:

— Касьян! Идите с набором[5]!! — говорю я и бросаю свой самолет наперерез «фоккеру», преследующему Касьяна. Но я был далеко. Бродинский, находившийся ближе, понимает мое намерение и кидается на врага, который пристроился к хвосту машины Касьяна. Бродинский рискует собой, так как подставляет себя под огонь другого немца. Но таков закон нашей жизни: сам погибай, а товарища выручай!

Вражеский летчик, преследующий Касьяна, и Бродинский, идущий за ним следом, открывают огонь одновременно. На плоскости самолета Касьяна рвутся снаряды, но и от «фоккера» летят осколки. Два самолета — наш и вражеский — обрывают полет и падают.

Гитлеровские истребители, бродившие внизу, пошли в атаку на наших штурмовиков. Я дал несколько очередей по немцам, и они отвернули. В это время к моему ведомому Олейнику пристроился «фоккер», заметив, что он еще малоопытный летчик, — это в воздухе сразу видно.

— А, младенцев бить! — обозлился я и, поймав фрица в прицел, нажал на гашетку пушки. Снаряды прошили вражеский самолет, и он, задымив, исчез внизу. Но, очевидно, перед своей гибелью немецкий летчик успел все-таки дать огонь по Мише, потому что его самолет «ковыляет». Долго ли он сможет продержаться?

В этот момент раздался крик Бродинского.

— Вовка, сзади фриц!

И не успел я отвалить в сторону, как длинная пулеметная очередь резанула по моему самолету. С приборной доски сверкающими брызгами разлетелись стекла приборов. Кабина наполнилась дымом. Я откинул фонарь и проветрил кабину. Самолет меня слушается. Осмотрелся. Два «фоккера» далеко от нас вверху, слева от меня самолет Олейника то и дело

поклевывает носом, а около него Бродинский.

Мое внимание привлекает сильный запах горелого масла. «Мотор поврежден. Скоро сгорит!» Я иду со снижением в сторону солнца. Надо как можно дольше протянуть, оказаться над своими войсками. За моим самолетом остается шлейф дыма, а кабина превращается в какую-то дымовую душегубку. Дым не успевает вытягиваться, я задыхаюсь, глаза слезятся. Ко мне спешит Бродинский, но я ему машу рукой, чтобы он следил за Олейником. Приходится объясняться жестами, так как рация тоже разбита. Будь он проклят, фриц!

Где же я? Сколько нахожусь в полете? Часы разворочены пулей, ничего неизвестно. Вспоминаю, что бой шел в тридцати километрах от линии фронта. Перешел ли я ее? Надеваю очки, но они сразу же покрываются льдом. По-прежнему тяну на юг. Буду лететь, сколько смогу...

Было это 26 января 1945 года. Этот день явился тяжелым боевым крещением для Миши Олейника. Вот что с ним произошло. Как только очередь с вражеского самолета пробила его машину во многих местах, Мишу что-то тяжело ударило по голове и легло на шею так, что он не мог выпрямиться, и продолжал лететь с этой непонятной тяжестью на шее. Летел по приборам. Так как навыки у него были еще небольшие, то он, конечно, растерялся. Возможно, Миша погиб бы, если бы не присутствие Бродинского, который успокаивал его, убеждал, что все будет благополучно.

Как важно присутствие — да, даже только одно присутствие — товарища в тяжелую минуту! Миша успокоился, и нервная дрожь, которая била его, прекратилась. Он попытался сбросить тяжесть с шеи, но тут же получил новый сильный удар по голове. Что же там сзади? Посмотреть мешала меховая куртка, которая связывала движения в и без того тесной кабине.

Бродинский что-то говорил ему по радио, но Олейник не мог разобрать. Почувствовав, что до аэродрома он не дотянет, Миша чуть высунулся из кабины и стал присматривать площадку для посадки. Увидев неровный круг озера, начал заходить на него.

— Что ты делаешь?! — крикнул ему Бродинский. — До аэродрома уже близко. Протяни немного.

Но Миша плохо соображал. Голова болела, в ушах стоял звон. Он выпустил шасси, щитки и стал планировать на озере, на обнаженную ветрами полосу льда. И вот колеса коснулись ледяной поверхности. Олейник резко затормозил. Самолет встал у самого берега перед зарослями кустарника, занесенного снегом.

Миша с трудом выбрался из машины и смог осмотреть кабину. Несколько фашистских снарядов разбили бронестекло,

прикрывающее голову летчика сзади. Крепление было сорвано. Бронестекло-то и ударило летчика по голове, а затем навалилось ему на шею. Миша выругался. Нелепая причина вынужденной посадки! Его самолет стоял на малой ледяной площадке, взлететь было невозможно.

Миша снял радиостанцию и часы, положил в парашютный чехол, сличил свой ручной компас с самолетным, закрыл кабину и побрел на юг. После нескольких десятков шагов остановился. Где же он? Может, на территории, занятой врагом?

На лбу его выступил пот. Вокруг лежала безмолвная белая пустыня, и среди нее — человек, он, Олейник, экономя силы, делал шаг за шагом в надежде, что выйдет к своим...

Бродинский, видя, что Миша пошел на посадку, взглянул на

свои приборы и обнаружил, что стрелка бензомера стояла на красной черте. Горючее кончилось. Бродинский знал, что в пяти километрах от озера есть станция и около нее — посадочная площадка. Он направился к ней и благополучно приземлился. Здесь его заправили горючим, но взлететь не разрешили, так как наступал ранний зимний вечер.

А на нашем аэродроме происходило следующее. Когда над ним прошли вернувшиеся с задания штурмовики, которых мы прикрывали, летчики и механики, собравшиеся на летной полосе, ждали и нашего появления. Мой механик говорил:

— Сейчас и наши будут. Сейчас...

Проходили секунды, минуты, а никто из истребителей не появлялся. Лица товарищей мрачнели. «Батя» связался с аэродромом штурмовиков, спросил о нас. Оттуда ответили, что видели наш бой с «фоккерами», а что дальше было — никому неизвестно. Армашов опустил трубку. Лицо его в этот момент, как рассказывали мне потом товарищи, заметно постарело. Он приказал непрерывно вызывать нас. В эфир полетели его позывные:

— Я — «Изумруд-один». Я — «Изумруд-один»...

Никто не откликался. Прошло полчаса. Армашов позвонил в дивизию, но там ничего о нас не знали.

На аэродроме стояла гнетущая тишина. Все ходили сумрачные. Личный состав волновался за нас, за нашу судьбу. Так прошел остаток дня, ночь, а ничего по-прежнему не было известно...

...Я тянул, как мог, дальше, но вдруг мотор неожиданно заглох — «обрезал», как говорят летчики. Почему же я раньше не присмотрел себе площадки для неожиданной вынужденной посадки? Взглянул на землю. Садиться некуда — везде кочки, кусты и только очень узкая извилистая полоска дороги. Винт перестал вращаться. Положение было трудное. Я опустил нос самолета, выпустил щитки и тут подумал, что с остановленным винтом еще ни разу не садился. Но даже в этом неприятном положении нашел для себя некоторое утешение — винт замер одной лопастью кверху.

Под самолетом пробегает серпантин дороги. Буду садиться на нее. Вот и довольно прямой отрезок. Приземляюсь. Кажется, все в порядке. Но тут же раздается треск, хруст. Самолет останавливается как вкопанный. Меня бросает на ручку управления, а затем откидывает на спинку сиденья и прижимает к ней. Вокруг самолета поднимается вихрь снега. Я теряю сознание.

Оно возвращается медленно. Первое, что я увидел, было пламя, которое показалось из-за приборной доски. Я смотрел на

него и почему-то спокойно думал: «Горю»...

Но уже в следующее мгновение апатия исчезла, и я рванулся с сиденья: надо скорее выбираться из самолета! Это не так легко сделать: ручка прижала меня к сиденью. Наконец я вырвался из этих железных объятий, вывалился из кабины и что было силы бросился от самолета. Едва я пробежал метров тридцать, как за спиной раздался взрыв, меня швырнуло в снег. Я поднялся, сел. На месте самолета бушевало пламя. По звуку определил, что это взорвались баки с горючим.

Неожиданно я увидел четырех человек, которые бежали ко мне с автоматами наперевес. Я сбросил лямки парашюта, вытащил пистолет и поднял его, целясь в ближнего. Нет, сволочи, так я не сдамся! На каждого найдется пуля. Последнюю оставлю для себя. Чувствовал я себя спокойно, как будто речь шла не обо мне, не о моей жизни. В полусотне метров от меня люди остановились и стали кричать:

— Чей ты — наш или немец?

Теперь я рассмотрел, что это были советские солдаты в полушубках, со звездочками на шапках, и от радости заорал:

— Я вам дам, черти окаянные, немец! — и спрятал пистолет.

Солдаты подходили ко мне осторожно, держа автоматы на изготовку. Я снова крикнул:

— Да свой, свой! Подходите!

Бойцы с интересом меня рассматривали. Один из них, старшина, сказал:

— Хорошо отделался. А что если бы он раньше бухнул?

Все смотрели на горящие остатки самолета. Неожиданно раздался выстрел, за ним второй, третий. Я понял, что происходит, и приказал:

— Ложись!

Мы упали в снег, стараясь втиснуться в него. Рвались патроны в самолете, и над нашими головами злыми осами пролетали пули. За ними начали рваться снаряды. Но канонада продолжалась недолго, вскоре наступила тишина. Мы поднялись. От самолета осталась бесформенная груда искореженного, изорванного металла.

— Тут недалеко за поворотом стоит машина, на которой мы ехали, — сказал старшина. — Можем подвезти.

Поднявшись на ноги, я почувствовал сильную боль в пояснице, но, не придав ей значения, дошел до грузовой машины. А боль усиливалась.

В этот момент к нам подъехал «виллис». Это была машина командира гвардейского истребительного корпуса, базирующегося в городе Илакяй. Шофер узнал меня и предложил:

— Садитесь, я подвезу.

Распростившись с солдатами, я погрузил в «виллис» парашют и сел рядом с шофером. Но как только машина понеслась вперед, боль в пояснице усилилась. Она росла при каждом толчке, и я едва сдерживал стоны. Шофер начал расспрашивать о моей вынужденной посадке, но, увидев гримасы на моем лице, замолк и стал осторожнее вести машину.

Что же, все-таки, со мной случилось? Неужели вся эта боль от удара при посадке, когда самолет наскочил на занесенный снегом валун?

Мы приехали в дивизию. Я хотел выйти из машины, но только охнул от боли, которая, казалось, вот-вот лишит меня сознания. Спина не разгибалась, ноги отказывались слушаться.

Подбежавшие летчики на руках перенесли меня в общежитие, раздели. Пришел полковой врач. После осмотра он сделал мне массаж. Стало как будто легче. А утром я не мог повернуться без чужой помощи с боку на бок. Опять массаж, опять временное полегчание, но... По заключению врачей, я временно отстранен от полетов, так как у меня «сильный ушиб», и помещен в дом отдыха вблизи нашего аэродрома в Эзерах.

Тоска по боевой летной работе выматывала все нервы, ну просто места себе я не мог найти. Когда чувствовал хоть некоторое облегчение, направлялся к товарищам на аэродром, конечно стараясь не попасть на глаза «бате», потому что он немедленно отправлял меня в дом отдыха и давал там приказ строже следить за мной.

Чтобы как-то убить время, я чаще посещал кино и различные вечера отдыха и концерты «авиационного джаза», состоявшего из четырех человек. Несмотря на свою маломощность, джаз бойко исполнял все, начиная от Чайковского и кончая «Синим платочком». Этот джаз давно был знаком летчикам и пользовался у них большой любовью. Он играл на танцах сколько угодно, исполнял все заказы. Да и сам руководитель джаза, игравший на любом инструменте, — старший сержант, молодой, веселый, как говорят, рубаха-парень, нравился нам. К тому же его трофейная «лейка» всегда была к услугам каждого. И будь то фотография на документ или снимок для любимой — он выполнял все одинаково охотно, быстро и хорошо.

Наступил День Советской Армии — 23 февраля 1945 года. Этот весельчак и фотомастер был приглашен со своим джазом в наш полк. После торжественной части и небольшого концерта начался праздничный ужин. Руководителя джаза приглашали от одного стола к другому, угощали, и скоро он был в таком состоянии, что двум летчикам из первой эскадрильи было

приказано доставить его в общежитие и уложить в постель.

Летчики отнесли музыканта к себе и, раздевая, неловко стащили гимнастерку. Из ее кармана выпало несколько фотографий наших летчиков, документы. Среди них оказалось удостоверение на орден Славы первой степени на имя младшего лейтенанта Сигайло.

Один из летчиков, подбиравший с пола рассыпанные документы, не поверил своим глазам. Ведь Сигайло давно погиб. Почему же это удостоверение у музыканта?..

Через несколько дней «музыкант-фотограф» был арестован. Нам стало ясно, кто занимался отправкой фотографий наших летчиков немцам, кто подвешивал мины к самолетам...

Мы получили хороший урок и усилили бдительность.

Спасибо, партия, спасибо, Родина!

Вот и кончился мой вынужденный «курорт», как в шутку называли мое пребывание в доме отдыха товарищи. Боли прошли, я забыл о них. В молодости серьезно относишься только к явным ранам, которые видишь, а всякие там внутренние недомогания кажутся пустяками.

Я снова в воздухе. Наша четверка прикрывает «горбатых», которые идут на штурмовку немецких позиций. Погода отвратительная. Падает мокрый снег, и воздух кажется какой-то снеговой кашей. Держим высоту в семьсот метров ниже облаков. Как обычно, бьют зенитки. Вот мы и у цели. Штурмовики перестраиваются для атаки, а мы должны их оберегать от внезапного нападения «фоккеров», если те отважатся подняться в такую погоду. С наслаждением чувствую движение машины, ее послушность. Я вновь в своей стихии. У меня праздничное настроение. И вдруг — тишина. Мотор замолк. Он перестал быть живым, звучащим. Я говорю Бродинскому:

— Выхожу на свою территорию.

Начинаю тянуть к своему краю, но высота мала, и я прекрасно понимаю, что едва ли мне удастся перепрыгнуть немецкие окопы. Гляжу на приборы. Скорость триста километров, высота же пятьсот метров. Как могу, использую и весь свой опыт и качества машины — экономлю высоту. Но она неумолимо падает. Немцы увидели меня. Радостно и злобно, как показалось мне, захлопали их зенитки. Для них я сейчас прекрасная цель. Еще несколько секунд, может минута-другая — и я буду сбит.

Надо не давать фашистам прицеливаться. Для этого требуется изменить направление полета. Но это приведет к значительной потере высоты, а до земли и так уж рукой подать.

Снаряды зениток рвутся в угрожающей близости. Я не хочу смотреть на землю. Непрерывно пытаюсь запустить мотор. Он молчит, а высота падает. Хорошо вижу вражеские позиции и немцев, которые палят в меня из пушек и даже автоматов. Прибор показывает, что до земли всего семьдесят пять метров.

Все! До своих не дотяну. Самолет коснется земли намного раньше, и я окажусь в лапах торжествующих врагов. Нет! Так легко вы меня не заполучите! Советский летчик и смерть свою делает победой над врагом. Я пристально рассматриваю немецкие укрепления. Зенитные батареи прекратили стрельбу. Там прекрасно видят, что я сажусь к ним прямо в руки.

Ищу себе цель для тарана — иного решения не может быть. Вон крупная противовоздушная батарея, окруженная большими штабелями ящиков со снарядами. Вот будет фейерверк! Сердце мое бьется так сильно, что, кажется, вот-вот разорвется. Как не хочется погибать! Направляю самолет на батарею, от которой, поняв, в чем дело, в панике бегут фашисты. Батарея приближается так быстро, что становятся хорошо видны и орудия, и ящики, и пустые гильзы на земле. Я невольно, автоматически, нажимаю на сектор газа — и здесь происходит то, что и до сих пор кажется мне чудом: мотор взревел с такой силой, что я оглох от этого звука и едва успел взять ручку на себя. Несусь низко над землей, в которую только что чуть не врезался. Мне даже кажется, что я почти коснулся стволов зенитной батареи. Гитлеровцы, высунувшиеся из окопов, чтобы посмотреть, как разобьется советский летчик, в панике прыгают в укрытия, а я проношусь над ними и боевым разворотом ухожу в облака. Фашисты шлют вдогонку снаряды, но это теперь бесполезная трата боеприпасов. Стреляйте, стреляйте!

Пробиваю облачность. Надо искать своих. Где они? Подо мной, как молочная пена, облака, сверху — голубая чаша неба. Восстанавливаю ориентировку и через несколько минут нахожу своих. Какая радость, какое счастье! Я ведь уже прощался с друзьями, с родными, с жизнью!

Сближаюсь с товарищами и иду рядом с Бродинским. Вижу, он с улыбкой кивает головой, а потом говорит по рации:

— Везет тебе, Вовка!

Так же сказал и «батя», когда мы вернулись на аэродром и доложили о случившемся...

...Проходят дни. Они приносят нам новые боевые успехи, но для меня — и новые огорчения и тревоги: все время болит правая нога. Но я не хочу показываться врачам, опасаясь, что меня отстранят от полетов. Нет, этого я допустить не могу! Мы все время идем вперед, как идет весна, — веселая, бурная. Весна 1945

года! Мы давно наносим удары по врагу с прекрасного аэродрома в Шяуляе на новых самолетах «Як-9у». Теперь боевой техники не только в избытке, но она и по своим качествам прекрасна. У самолетов изумительная маневренность, скорость. Мощность моторов просто сказочна. О таких машинах мы раньше даже и не мечтали!..

Бои идут за боями, по-прежнему большая нагрузка, но мы веселы, часто шутим, смеемся, нас радует весна, первые зеленые листочки, первая трава. Но наибольшую радость приносит, конечно, сознание, что наши войска день ото дня приближаются к Берлину.

Мечтая о скорой победе, мы деремся с каким-то особенным накалом, яростью и, я бы сказал, виртуозностью. Бьем немцев в воздухе, громим на земле, топим в море, когда они пытаются на судах прорваться к Либаве... И вот он пришел, этот светлый, великий день! Победа! Слава тебе, родная Коммунистическая партия, давшая нам силы преодолеть все трудности, все горести и одержать победу над лютым врагом!

На наших гимнастерках появляются новые ордена. Бродинский награжден третьим орденом Боевого Красного Знамени и орденом Великой Отечественной войны I степени, я — орденом Александра Невского; мне присвоено звание капитана...

Утро обычного учебного дня на высших офицерских летно-тактических курсах, слушателем которых являюсь и я. Сегодня 20 августа 1945 года. Надо сдавать зачеты по бомбометанию. Немного волнуюсь. Собираю конспекты и выхожу из комнаты, в которой живу вместе с Героем Советского Союза Николаем Бородиным. В дверях мне вручают телеграмму. Смотрю на адрес отправителя — Хабаровск! Опять от родных. А я до сих пор им не написал подробного письма о том, как участвовал в параде Победы, как был с товарищами на приеме в Кремле, где видел руководителей нашей великой партии и правительства. Хочу сунуть телеграмму в карман, но мелькает мысль, что в ней, возможно, сообщается о чем-нибудь важном. Вскрываю и читаю. Мать и сестра Галя поздравляют меня с присвоением мне звания Героя Советского Союза.

Смеюсь над их шуткой. Это они мне в отместку за долгое молчание! Мол, загордился, так на тебе! Показываю телеграмму и Николаю Бородину. Он тоже смеется: — Для них ты, конечно, герой!

Я махнул рукой и побежал в аудиторию. Едва успел — подошла моя очередь. Преподаватель по бомбометанию у нас строг, требователен. Я стою у доски с мелком в руках и, отвечая на вопросы, подкрепляю свои ответы схематическими чертежами.

Вдруг в класс входит Николай Бородин и по всем правилам Устава, став в стойку «смирно», просит у преподавателя разрешения зачитать Указ Президиума Верховного Совета СССР.

Мы все с удивлением и любопытством смотрим на Николая. О чем может быть Указ?

Бородин торжественно читает. И вдруг я слышу свою фамилию, свое имя, отчество. Мне присвоено самое высокое в нашей стране звание — звание Героя Советского Союза!

Спасибо тебе, моя партия, спасибо, Родина!

Спустя много лет

На днях я получил письмо из Риги. Когда почтальон вручил мне конверт, я взглянул на адрес отправителя.

От Гуры! Степана Гуры!

Так вот он где — в Елгаве, на Балтике. Нетерпеливо разрываю конверт и читаю строчку за строчкой. И словно вижу перед собой стройного, подтянутого летчика с гордо-посаженной головой. Таким он был двадцать лет назад. Сейчас, наверное, густая седина покрыла его голову. Степан пишет, что он — секретарь городского комитета партии. Гура стал партийным работником после окончания службы в армии. Ее он оставил в звании полковника. «Ты, конечно, понимаешь, — пишет Гура, — что такое большое доверие надо оправдывать большой и только отличной работой».

Я уверен, что Степан Гура справится со своей новой и очень сложной работой. В этом же письме Степан высказывает волнующую мысль:

«Надо нам договориться с Армашовым и в день двадцатой годовщины Великой Победы советского народа над гитлеровской Германией встретиться, хотя бы у меня, всем однополчанам. Это была бы очень интересная встреча. Мы бы не только вспомнили «минувшие дни, как в битвах суровых сражались», — так, кажется, пишет поэт? Вспомним, конечно, и как сражались, и прежде всего вспомним товарищей, друзей, которые отдали свои жизни за нашу Родину! Посмотрим друг на друга и расскажем друг другу о себе, о том, что мы делаем сейчас, как несем свою мирную вахту. Надо в оставшееся время разыскать товарищей. У меня уже есть несколько адресов».

Степан пишет о нашем «бате», Петре Александровиче Армашове, который работает механиком на заводе в городе Острогоржске. По-прежнему служит в нашей родной Советской Армии Иван Козловский, у которого звание подполковника. Такое же звание у Виктора Бродинского, Дмитрия Хохрякова. Майором

стал Алексей Симченко. Две звезды Героя Советского Союза украшают грудь полковника Александра Колдунова. Все они держат свои машины в боевой готовности. Они на страже нашего чистого неба!

Предложение Степана Алексеевича Гуры мне очень понравилось, и я принялся за розыски боевых фронтовых друзей. В моем блокноте появляются все новые и новые адреса.

Продолжает служить в Советской Армии Николай Данилович Снопков. Он полковник. В столице живет Александр Михеев, в Ленинграде — Николай Олейников... Все трудятся, все активно участвуют в нашей большой жизни...

Я с нетерпением жду этой встречи. Она состоится. Мы соберемся, боевое товарищество!..

Нет в живых Героя Советского Союза Николая Бородина — он погиб спустя несколько лет после окончания войны при исполнении служебных обязанностей, нет Ивана Хроленко и многих других товарищей. Но они не забыты. Они в наших сердцах.

Я уже вижу, как она начнется, эта встреча. Мы придем раньше нашего «бати». Когда он войдет, мы выстроимся, и один из нас, старший по званию, доложит:

— Истребительный полк...

«Батя» выслушает рапорт и строгим привычным взглядом осмотрит нас, а потом улыбнется и скажет:

— Вольно!

Мы окружим его и забудем, что только что собрались, съехались со всех концов нашей большой страны, — мы словно вновь окажемся в родном полку.

Мы вспомним все, а потом станем говорить о нашей жизни и мечтать о будущем, которое у нас у всех будет прекрасно!

1957-1962 гг.

Хабаровск — Вятское.

notes

Примечания

1

Капонир — земляное сооружение для укрытия самолетов.

2

Триммер — металлическая пластинка на задней кромке рулей самолета, служащая для регулировки устойчивости в полете.

3

Элерон — руль крена.

4

Подкос — место крепления прицела.

5

Идти с набором — набирать высоту.